

Лео
Перуц



Мастер Страшного суда Иуда «Тайной вечери»

[романы]



XX век. The Best

Лео Перуц

**Мастер Страшного суда.
Иуда «Тайной вечера»**

«Издательство АСТ»

1922, 1959

УДК 821.112.2-312.4(436)
ББК 84(4Авс)-44

Перуц Л.

Мастер Страшного суда. Иуда «Тайной вечера» / Л. Перуц —
«Издательство АСТ», 1922,1959 — (XX век. The Best)

ISBN 978-5-17-109094-4

«Мастер Страшного суда» — самый известный роман Лео Перуца. Это изысканное сочетание увлекательного интеллектуального детектива о расследовании таинственной серии самоубийств «без причины», потрясающих Вену начала XX столетия, и причудливой фантасмагории, полной мистических аллюзий, символов и мельчайших «подсказок», помогающих читателю понять скрытый смысл происходящего... В издание также включена изящная, глубоко психологичная историко-философская притча «Иуда “Тайной вечера”», в основе которой — работа великого Леонардо да Винчи над его гениальной фреской.

УДК 821.112.2-312.4(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-109094-4

© Перуц Л., 1922,1959

© Издательство АСТ, 1922,1959

Содержание

Мастер Страшного суда	6
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	19
Глава 6	23
Глава 7	26
Глава 8	30
Глава 9	35
Глава 10	39
Глава 11	44
Глава 12	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Лео Перуц
Мастер Страшного суда
Иуда «Тайной вечера»
Романы

Leo Perutz
Der Meister des Jungsten Tages
Der Judas des Leonardo

* * *

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1959,1994
© Перевод. Н. Федорова, 2018
© Перевод, стихи. Е. Пучкова, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Мастер Страшного суда

Глава 1

(Предисловие вместо послесловия)

Моя работа закончена. Я письменно изложил события осени 1909 года, тот ряд трагических обстоятельств, с которым я оказался связан столь странным образом. Все, что я написал, – правда от первого до последнего слова. Ни о чем я не промолчал, ничего не приукрасил – да и к чему? У меня нет повода что-либо скрывать.

Записывая эти происшествия, я обнаружил, что в памяти моей живо и ясно сохранилось бесконечное число подробностей, отчасти довольно незначительных: беседы, мысли, мелкие инциденты, но что при этом у меня составилось совершенно неправильное представление о времени, в течение которого все это разыгралось. Еще и теперь у меня такое впечатление, будто это длилось несколько недель. Но это ошибка. Я знаю точно, в какой день доктор Горский повез меня играть квартет на виллу Бишоф. Это было в воскресенье 26 сентября 1909 года; вся панорама этого дня еще и теперь стоит у меня перед глазами: с утренней почтой я получил письмо из Норвегии, постарался разобрать почтовый штемпель и подумал при этом о студентке, которая была моей соседкой за столом при плавании по Ставангерскому фиорду. Она ведь обещала мне написать. Я распечатал письмо, но в нем оказался проспект одного отеля у Гардангского глетчера. Разочарование. Позже я отправился в фехтовальный клуб, но тут, на улице Флориани, меня застиг ливень, я вошел в ворота какого-то дома и увидел старый запущенный сад с каменным фонтаном барокко; старая дама заговорила со мною и спросила, не живет ли в этом доме модистка по фамилии Крейцер. Помню все, словно это было вчера. Потом распогодилось, 26 сентября 1909 года осталось у меня в памяти как теплый день с безоблачным небом.

Днем я обедал с двумя товарищами по полку в садовом ресторане. Утренние газеты просмотрел только после обеда. В них были статьи о Балканском вопросе и о политике младотурок – поразительно, как это все запомнилось мне. Передовая статья обсуждала путешествие английского короля, а другая посвящена была планам турецкого султана. «Выжидательная политика Абдул-Гамида» – было напечатано жирным шрифтом в заголовке. В хронике сообщались биографические сведения о Шефкет-паше и Ниази-бее – кто ныне помнит еще эти имена? На Северо-Западном вокзале ночью был пожар – уничтожены огнем огромные лесные склады; сообщалось о готовящейся постановке «Дантона» Бюхнера; в опере шла «Гибель богов» с гастролером из Бреслава в роли Гагена; где-то, кажется в Петербурге, происходили забастовки и рабочие беспорядки; в Зальцбурге случилась в церкви кража со взломом, а телеграммы из Рима говорили о шумных сценах в парламенте. Затем я набрел на петитом набранную заметку о крахе банкирского дома Бергштейна. Она меня несколько не поразила, я предвидел этот крах и своевременно взял оттуда свои капиталы. Но невольно вспомнил об одном знакомом, об актере Ойгене Бишофе, который тоже доверил этому банку свое состояние. «Мне следовало его предупредить, – мелькнуло у меня в голове. – Но разве он поверил бы мне? Он никогда не верил в мою осведомленность. К чему вмешиваться в чужие дела?» И тут же мне припомнилась моя беседа с директором придворных театров, происходившая несколькими днями раньше. Речь зашла об Ойгене Бишофе.

– Он старится, к сожалению, ничего не поделаешь, – сказал директор и прибавил еще несколько слов о том, что надо дать место молодым силам.

Судя по моему впечатлению, у Ойгена Бишофа было мало шансов на возобновление контракта. А тут еще вдобавок эта катастрофа с Бергштейном и К^о.

Все это запомнилось мне. Так отчетливо запечатлелся в моем мозгу день 26 сентября 1909 года. Тем труднее мне понять, как мог я отнести к середине октября тот день, когда мы втроем вошли в дом на Доминиканском бастионе. Быть может, воспоминание об опавших каштановых листьях на песчаных дорожках сада, о зрелом винограде, продававшемся на перекрестках, и о первых осенних заморозках – быть может, вся эта совокупность смутных воспоминаний, как-то связанных для меня с этим днем, ввела меня в такое заблуждение, в действительности же все разрешилось 30 сентября, это я установил на основании заметок, сохранившихся у меня от того времени.

С 26 по 30 сентября, стало быть, не больше пяти дней, длился весь этот трагический кошмар. Пять дней продолжалась романтическая охота, преследование незримого врага, который был не существом из плоти и крови, а страшным призраком минувших веков. Мы набрали на кровавый след и пошли по этому следу. Молча открылись ворота времени. Никто из нас не предвидел, куда ведет путь, и чувство у меня теперь такое, словно мы с трудом, шаг за шагом, ощупью пробирались по длинному темному коридору, в конце которого нас поджидало чудовище с поднятой дубиной... Дубина опустилась два раза, три раза, ее последний удар пришелся по мне, и я бы погиб, я разделил бы страшную участь Ойгена Бишофа и Сольгруба, если бы в последний миг не был внезапно выхвачен из бездны.

Сколько жертв поглотило оно, это окровавленное чудовище, на пути своем сквозь чащу столетий, сквозь времена и страны? Судьба многих людей представляется мне теперь в ином свете. На оборотной стороне переплета среди имен прежних владельцев книги я открыл одну полустертую подпись. Правильно ли я разобрал ее? Неужели Генрих фон Клейст тоже?... Нет, бесполезно искать, и гадать, и вызывать призраки великих усопших. Туман скрывает их лики. Безмолвствует прошлое. Никогда не даст ответа мрак. И это не миновало, нет, все еще не миновало, видения поднимаются из глубин и осаждают меня ночью и среди бела дня – теперь, впрочем, хвала небесам, уже только в виде бледных, бесплотных теней. Оно спит во мне, мое страдание, но сон его все еще недостаточно глубок, и подчас меня вдруг охватывает страх и гонит к окну; мне представляется, что там, наверху, чудовищными волнами должен бушевать в небе ужасный огонь, и я не верю себе при виде солнца над моею головой, солнца, окутанного серебряной дымкой, окруженного багряными облаками или одинокого в безграничной небесной синеве, при виде извечных, вечных красок вокруг меня, красок земного мира. Ни разу после того дня не видел я больше страшного пурпура трубного гласа. Но тени все еще тут: возвращаются, обступают меня, тянутся ко мне... Исчезнут ли они когда-нибудь из моей жизни?

Быть может, это грешные души? Быть может, изложив на бумаге то, что меня угнетало, я отделался от гнета навсегда? Повесть моя лежит передо мною в виде кипы разрозненных листов; я поставил крест на ней. Какое мне отныне дело до нее? Я отодвигаю ее в сторону, словно ее кто-то другой пережил и сочинил, кто-то другой написал, не я.

Но еще другое соображение побудило меня записать все то, что я хотел забыть, но забыть не могу.

Сольгруб за несколько мгновений до своей смерти уничтожил один исписанный лист пергамента. Он это сделал, чтобы отныне никто не мог подпасть под то же странное обольщение. Но можно ли быть уверенным, что этот пергамент был единственным в своем роде экземпляром? Разве нельзя допустить, что в каком-нибудь забытом уголке мира лежит второе сообщение флорентийского органиста – выцветшее, запыленное, истлевшее, объединенное крысами, похороненное под хламом старьевщика или притаившееся за фолиантами старой библиотеки или между коврами и коранами на чердаке лавки где-нибудь в Эрцинджане, Диарбекире или Джайпуре – что оно там лежит настороже, готовое к воскресению и жаждущее новых жертв?

Все мы – неудавшиеся произведения Великого Творца. Мы носим в себе страшного врага и этого не подозреваем. Он не шевелится в нас, он спит, лежит как мертвый. Горе тому, в ком

он оживает. Да не узрит отныне ни один смертный пурпурной краски трубного гласа, которую увидел я! Да, пусть Бог мне будет защитой – я ее видел...

И поэтому рассказал я здесь мою повесть.

Я знаю, у нее, в том виде, в каком она теперь лежит передо мною, эта кипа исписанной бумаги, – у нее, в сущности, нет начала. Как она началась? Я сидел дома, за письменным столом, с пенковой трубкой в зубах и перелистывал книгу. В это время пришел доктор Горский.

Доктор Эдуард фон Горский при жизни был мало известен вне узкого круга специалистов. Только смертью заслужил он себе мировую славу. Он умер в Боснии от заразной болезни, которую избрал предметом своих специальных исследований.

Он, как живой, стоит передо мною, плохо выбритый, очень неряшливо одетый, с косо повязанным галстуком. Указательным и большим пальцами он зажал себе нос.

– Опять ваша проклятая трубка! – расшумелся он. – Неужели вы не можете жить без нее? Какой ужасный дым! Он чувствуется даже на улице.

– Это запах заграничных вокзалов, он мне нравится, – ответил я, вставая, чтобы с ним поздороваться.

– Черт бы его побрал! – проворчал он. – Где ваша скрипка? Вы будете играть у Ойгена Бишофа, мне поручено вас привезти.

Я взглянул на него в изумлении.

– Разве вы не читали сегодня газеты? – спросил я.

– Ах, вы об этом уже знаете тоже? – воскликнул он. – По-видимому, всему свету известно то, о чем только сам Ойген Бишоф не имеет никакого представления. Да, история скверная. Насколько я понимаю, ее хотят скрыть от него. Как раз теперь у него происходят неприятности с дирекцией, и, по крайней мере, покуда они не уладились, надо об этом молчать. Посмотрели бы вы, как ведет себя Дина: точно ангел-хранитель бережет она его. Едем со мною, барон! Ему, по-моему, будет сегодня полезно всякое развлечение и отвлечение.

Мне очень хотелось повидать Дину. Но я был осторожен. Я сделал вид, будто мне нужно еще предварительно подумать.

– Немного помузицируем, – убеждал меня доктор Горский. – Я захватил с собой виолончель, она в фиакре. Сыграем фортепианное трио Брамса, если хотите.

И он стал насвистывать про себя, чтобы меня соблазнить, первые такты Н-dur-ного скерцо.

Глава 2

Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишоф обычно запирался, когда ему присылали новую роль; там он ее разучивал и в иные дни часами оттуда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт и делал странные телодвижения, какие ему предписывала роль.

Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксий и георгин сидел на корточках глухой старик садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и змеев по воздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками.

Мы начали музицировать в пятом часу дня, проиграли две скрипичные сонаты Бетховена и трио Шуберта. После чая приступили наконец к трио H-dur. Я люблю это трио, особенно первую часть, полную торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали, едва лишь мы начали играть. Ойген Бишоф своим звучным голосом громко произнес: «Войдите!» – и в комнату просунулся молодой человек, лицо которого мне сразу показалось знакомым, я только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах уже видел его. Он закрыл не без шума дверь, хотя, по-видимому, очень старался нам не помешать. Это был рослый плечистый блондин с почти четырехугольной головой, с первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно напоминая кашалота.

Дина вскользь подняла на него глаза от клавиш, кивнула ему, к моему удовольствию, довольно небрежно, головой и продолжала играть, между тем как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они оба беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы: «Кто это? Откуда он взялся?», – и я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности.

Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишоф познакомил нас:

– Инженер Вольдемар Сольгруб, товарищ моего зятя, – барон фон Пош, любезно заменивший Феликса.

Феликс, младший брат Дины, услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке, а чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты.

Затем показался доктор Горский из-за своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишоф. И между тем как он склонился над ее рукой – он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть, – между тем как он стоял, склонившись над ее рукой, и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые, коротко стриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под сорок, хотя он держался как двадцатилетний юноша.

Наконец он решился выпустить руку Дины и подошел ко мне.

– Кажется, мы с вами знакомы, господин виртуоз.

– Меня зовут барон фон Пош, – сказал я очень спокойно и очень вежливо.

Кашалот понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится, моей фамилии, когда нас познакомили. У него была странная манера речи – он как-то выталкивал

слова изо рта и живо напомнил мне этим своего двойника, выпускающего водяную струю из ноздри.

– Но ведь вы меня помните, надеюсь? – спросил он.

– Нет, очень сожалею.

– Если не ошибаюсь, мы пять недель тому назад...

– Мне кажется, вы ошибаетесь, – сказал я, – пять недель тому назад я путешествовал...

– Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии. И мы на пути из Христиании в Берген четыре часа сидели друг против друга. Вспоминаете?

Он помешивает ложечкой в чашке чаю, которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит, с любопытством глядя на нас обоих:

– Ах, так вы уже раньше были знакомы?

Кашалот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине:

– Как же! Но господин барон был во время плавания так же необщителен, как сегодня.

– Весьма возможно, – ответил я. – К сожалению, такова моя привычка, я не особенно люблю дорожные знакомства.

И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кашалота.

Ойген Бишоф заговорил об изумительной памяти на лица, которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишоф всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами.

– Полно, что вы, – говорит инженер, похлебывая чай. – В этом случае никакой особенной памяти я не показал. Правда, лицо у господина барона как у тысячи других людей, – вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо, до чего вы похожи на множество других людей, – но зато у вашей английской трубки физиономия, несомненно, характерная. По ней-то я вас сразу и узнал.

Я нахожу, что его шутки довольно плоски и что он несколько не в меру занят моею особю. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь.

– Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя, – восклицает кашалот громко и бесцеремонно. – У тебя был, читал я, большой успех в Берлине, все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно?

– Не будем ли мы дальше играть? – предлагаю я.

Кашалот сделал преувеличенно испуганный, извинительный жест.

– Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Право же, я думал... Я ведь совсем немужыкален.

– Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания, – уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица.

Он делает вид, будто не расслышал этого замечания. Садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в созерцание карточки, на которой Ойген Бишоф представлен в костюме какого-то шекспировского короля.

Я начинаю настраивать скрипку.

– Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частями – в вашу честь, господин инженер, – говорит доктор Горский, и я слышу, как Дина шепчет мне:

– Отчего вы так не приветливы с Сольгрубом?

Я, вероятно, залился краской в этот миг, я всегда краснею, когда она заговаривает со мною. Повернув голову, я вижу своеобразный овал ее лица, темные глаза, удивленно и вопрошающе на меня устремленные. И я ищу ответа, хочу объяснить ей свою антипатию, объяснить, что чувствую предубеждение к людям, которые так некстати врываются в комнату. Конечно, они в этом не виноваты и могут быть в то же время превосходными людьми, я это сознаю. Таково уж их роковое предрасположение – всегда появляться в тот миг, когда они

мешают. Я с этим соглашаюсь охотно, но не могу подавить в себе эту антипатию, ничего не поделаешь, таким уж я рожден...

Нет! Кого же я стараюсь провести? Ведь это все неправда. Это ревность, жалкая ревность, страдание преданной любви. При виде Дины я становлюсь цепной собакой, которая стережет ее. Кто к ней приближается, тот становится моим смертельным врагом. Каждый взор ее глаз, каждое слово ее уст я хочу сохранить для себя. То, что я не могу освободиться от нее, не могу встать и навсегда положить этому конец, – это болит, это горит во мне...

Тише! Доктор Горский делает знак. Он дважды ударяет смычком по пюпитру, и мы приступаем ко второй части.

Глава 3

Эта вторая часть Н-dug-ного трио – как часто уже устрашала она меня и потрясала своими ритмами! Никогда не мог я ее доиграть до конца, не чувствуя себя глубоко подавленным, и все же я люблю ее страстно.

Скерцо, да, но какое скерцо! Начинается оно с жуткого веселья, с радости, от которой леденеет кровь. Какой-то призрачный смех проносится по воздуху, дикая и мрачная свистопляска козлоногих фигур. Таково начало этого странного скерцо. И вдруг над адской вакханалией поднимается одинокий человеческий голос, голос заблудшей души, терзаемого страхом сердца, и жалуется на скорбь свою.

Но вот опять сатанинский хохот врывается с громом в чистые звуки и разрывает в клочья песню. Снова поднимается голос, робко и тихо, и находит свою мелодию и высоко возносит ее, словно хочет умчаться с нею в мир иной.

Но духам ада дана вся власть, занялся день, последний день, день Страшного суда. Сатана торжествует над грешной душой, и плачущий человеческий голос срывается с высоты и тонет в иудином хохоте отчаяния.

Несколько минут сидел я молча среди молчащих людей, когда сыграно было скерцо.

Потом безутешно-мрачный сонм призраков исчез. Рассеялось видение Страшного суда, кошмар покинул меня.

Доктор Горский встал и принялся медленно расхаживать по комнате. Ойген Бишоф сидел безмолвно, уйдя в себя, а инженер потягивался, словно только что проснулся. Потом взял папиросу из стоявшей на столе коробки и довольно шумно захлопнул ее крышку.

Мой взгляд скользнул по Дине Бишоф. Человек часто просыпается утром с мыслью, которая была у него последнею перед тем, как он заснул. Так и я, доиграв вторую часть, опять начал думать о том, что прогневил ее и должен умиловить. И это желание умиловить ее становилось во мне все сильнее, все настойчивее, чем дольше я смотрел на нее. Ни о чем другом я не мог уже думать – вероятно, это детское желание было одним из последствий музыки.

Но вот она обращается ко мне:

– Ну, барон, что вы так задумчивы? О чем мечтаете?

– Я думал о своем щенке Заморе...

Я знаю хорошо, для чего это говорю, я смотрю ей прямо в глаза, мы это знаем оба, Дина и я. Она знала его, ах, как хорошо она его знала... Она вздрагивает, ничего об этом не желает слышать, качает головой и сердито отворачивается. Только теперь она по-настоящему рассердилась на меня. Мне не следовало это говорить, не следовало напоминать ей про Замора, моего маленького щенка, во всяком случае, не в этот миг, когда она, наверное, думает только об этом незнакомце, об этом кашалоте.

Между тем доктор Горский уложил в футляр виолончель и смычок.

– Я думаю, довольно на сегодня, – говорит он, – от третьей части избавим господина инженера, не так ли?

Дина, запрокинув голову, напевает про себя тему адажио.

– Слышите – это звучит как баркарола, правда?

Кашалот, к моему удивлению, тоже начинает напевать тему третьей части, почти безошибочно, только в несколько ускоренном темпе. А затем говорит:

– Баркарола? Нет. Вас, вероятно, обольщает скользкий ритм. Мне, во всяком случае, эта тема внушает представление совсем другого рода.

– Вы, вижу я, очень хорошо знаете Н-dug-ное трио, – говорю я, и этим, кажется, я умилиловил Дину Бишоф. Она тотчас же живо ко мне оборачивается.

– Надо вам знать, друг наш Сольгруб вовсе не так немзыкален, как говорит. Он только считает своим долгом выставить напоказ высокомерное свое отношение к музыке и ко всем остальным бесполезным искусствам. Не правда ли, этого требует ваша профессия, Вольдемар? И он хочет меня убедить, что интересуется моим мужем как актером только потому, что видел его фотографию на открытых письмах и в иллюстрированном журнале. Молчите, Вольдемар, я отлично знаю вас.

Кашалот делает такой вид, словно речь идет не о нем. Взял книгу с полки и перелистывает ее. Но ему, по-видимому, очень приятно быть средоточием беседы и подвергаться анализу Дины.

– А при этом, – вмешивается в разговор брат Дины, – музыка так сильно действует на Сольгруба, как ни на кого из нас. Русская душа, знаете ли. Он сразу видит перед собою целые картины, какой-нибудь ландшафт, и море под облачным небом, и прибой, и закат солнца или же человека и его телодвижения, или – как это было недавно – стадо бегущих казуаров и бог весть что еще.

– Недавно, – рассказывает Дина, – когда я играла последнюю часть *appassionat'ы*, – не правда ли, Вольдемар, у вас от *appassionat'ы* возник в голове образ ругающегося солдата?

«Вот у них как дело далеко зашло, – подумал я с горечью и гневом, – она ему играет бетховенские сонаты. Так это началось когда-то и у меня с Диной».

Кашалот отложил книгу в сторону.

– *Appassionata*, третья часть, – говорит он задумчиво и, откинувшись на спинку кресла, закрывает глаза. – При этих звуках я вижу с отчетливостью, какой теперь не могу передать, – каждую пуговицу на его мундире мог бы я описать в ту минуту, – вижу калеку на деревяшке, старого инвалида наполеоновских войск, который, ругаясь и шумя, ковыляет по комнате.

– Ругаясь и шумя? Бедняга! Вероятно, он потерял свои жалкие сбережения.

Сказал я это без всякого умысла, ничего при этом не думая, только шутки ради. Но уже в следующий миг догадываюсь, какое тягостное впечатление должна произвести такая шутка. И в самом деле, доктор Горский неодобрительно качает головой, Феликс обдает меня гневным взглядом и предостерегающе подносит ко рту руку в белой повязке, а Дина глядит на меня в сильном испуге и удивлении. Наступает неловкая пауза, я чувствую, как краснею от смущения. Но Ойген Бишоф ничего этого не заметил. Он обращается к инженеру.

– Я часто завидовал силе твоего пластического воображения, Сольгруб, – говорит он, и весьма подавленный вид имеет в данный миг этот кумир галерки и герой театральных школ. – Тебе бы следовало стать актером, милый Сольгруб.

– Вы ли это говорите, Бишоф, – восклицает доктор Горский почти запальчиво, – вы, начиненный образами и типами? Ведь у вас в голове они нагромождены друг на друга – короли и мятежники, канцлеры, папы, убийцы, мошенники, архангелы, нищие и сам Господь Бог.

– Но никого из них ни разу не видел я перед собою так живо, как Сольгруб своего калеку-инвалида. Мне являлись только их тени. Только туманные призраки, бесцветные и бесформенные, похожие то на одного, то на другого. Если бы я мог, как Сольгруб, описывать пуговицы на мундире, о боже, каким бы я стал воплостителем типов!

Я понимаю меланхолию, звучащую в его словах. Он состарился, он уже не прежний знаменитый Ойген Бишоф. Ему дают это чувствовать, и он это чувствует сам, он с этим борется и не хочет в этом сознаться себе. Бедняга, какие безнадежно печальные ждут тебя годы, годы заката!

И вдруг мне припоминается моя беседа с директором. Что, если бы ему кто-нибудь передал это замечание... Если бы я сам... «Вы знаете, милый Ойген, что я с вашим директором в приятельских отношениях? Недавно мы с ним болтали на разные темы, и под конец он мне сказал – вам ведь я могу это передать, не отнесетесь же вы к этому трагически, недавно он сказал мне, разумеется, только в шутку...»

О боже, что это за мысли! Упаси его бог узнать об этом. Это был бы конец. Он душевно так слаб, так неуравновешен, от малейшего дуновения ветра может свалиться.

Теперь брат Дины старается его приободрить. Милый мальчик пускает в ход все сценические термины, какие слышал: психологическая детализация, проникновение в дух произведения и так далее. Но Ойген Бишоф качает головой.

– Брось дурака валять, Феликс, – сказал он. – Ты знаешь не хуже меня, чего мне недостает. То, что ты говоришь, довольно верно, но не в этом суть. Поверь мне, всему этому можно научиться или же оно является само вместе с задачей, перед которою тебя ставят. Только творческой фантазии научиться нельзя. Либо она есть, либо ее нет. Этой фантазии, творящей миры из ничего, вот чего мне не хватает, как и многим другим, как большинству. Да, конечно, я знаю, что ты хочешь сказать, Дина: я проложил себе дорогу, я кое на что способен, что бы там обо мне ни писали в газетах. Но подозревает ли кто-нибудь из вас, какой я в действительности трезвый и сухой человек? Вот, например, произошла одна история, от которой надо бы потерять покой и сон. Мороз бы должен был пробрать меня по коже, мне следовало бы содрогнуться от жути, а на меня, видит бог, это действует не больше, чем когда я за завтраком пробегаю хронику несчастных случаев в газете.

– Вы сегодня читали газету? – спросил я.

При этом я имел в виду рабочие беспорядки в Петербурге: Ойген Бишоф очень интересуется социальным вопросом.

– Нет, не читал. Я не мог сегодня утром найти газету. Дина, куда она запропастилась?

Дина бледнеет, краснеет и опять бледнеет... Боже, как мог я не сообразить, что от него прячут газету, где помещена заметка о крахе его банкирской конторы. Опять уж я натворил бог знает чего. Я совершаю одну бестактность за другою.

Но Дина быстро овладела собою и легким тоном говорит, как о безделице:

– Газета? Кажется, я видела ее где-то в саду.

Я разыщу ее. Но ты начал только что говорить о чем-то интересном, Ойген, рассказывай же дальше.

Рядом со мною стоит брат Дины и шепчет мне еле слышно, почти не разжимая губ:

– Вы намерены продолжать свои эксперименты?

Я совершил оплошность в момент рассеянности, больше ничего... Как же это можно объяснить иначе?

Глава 4

Ойген Бишоф расхаживает по комнате, чем-то он занят и как будто старается выразить словами какую-то мысль. Вдруг он останавливается передо мною и смотрит на меня. Глядит мне прямо в лицо испытующе, с беспокойным и неуверенным выражением глаз, почти недоверчиво. От этого взгляда мне становится как-то жутко, сам не знаю почему.

– Странная история, барон, – говорит он. – Возможно, что вас бросит в дрожь и в жар, если я вам расскажу ее. Вы сегодня ночью, пожалуй, не сможете заснуть, вот такая это история. Но вот здесь, – и Ойген Бишоф ударил себя по лбу, – здесь у меня сидит какая-то клеточка, которая не дает себя вывести из состояния покоя. Она реагирует только на мелкие повседневные происшествия, на обыденщину. Но для страха, и жути, и отчаяния, и неистового испуга – для всего этого она непригодна. Для этого у меня нет надлежащего органа.

– Расскажите же нам, наконец, эту историю, Бишоф! – перебил его доктор Горский.

– Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, в чем заключается необыкновенная сторона этого происшествия. Рассказчиком я был всегда плохим, вы это знаете. Быть может, вам это все совсем не покажется таким волнующим...

– К чему долгие предисловия, Ойген, начинай же! – говорит инженер, стряхнув пепел с папиросы.

– Ладно, выслушайте меня и думайте потом что хотите. История вот какова. Недавно я познакомился с молодым морским офицером. Он получил долгосрочный отпуск для приведения в порядок своих семейных дел. Эти семейные дела, занимавшие его, были особого свойства. Здесь, в городе, жил его младший брат, художник и ученик академии. Художник этот, человек, по-видимому, очень даровитый – я видел некоторые его работы – «Детскую группу», «Сестру милосердия», «Купающуюся девушку», – этот молодой человек наложил на себя руки. Самоубийство его решительно ничем не было мотивировано. Ни малейшего повода к такому акту отчаяния у него не могло быть. Не было у этого юноши ни долгов, ни других денежных забот, ни несчастной любви, ни болезни – словом, это было в высшей степени загадочное происшествие. И брат его...

– Такие самоубийства случаются чаще, чем принято думать, – заметил доктор Горский. – Полицейские протоколы довольствуются обычно формулой «в мгновенном беспамятстве».

– Да, так говорилось и в этом случае, но семья этим не удовлетворилась. Родителям прежде всего показалось непостижимым, что сын не оставил прощального письма. Даже обычной в таких случаях фразы: «Дорогие родители, простите меня, но я не мог иначе» – даже такой короткой строчки не удалось найти среди бумаг самоубийцы. Да и в прежних его письмах не было ни слова, которое указывало бы на возникшее или развивавшееся намерение покончить с собою. Семья не поверила поэтому в самоубийство, и старший брат взялся поехать в Вену и выяснить происшедшее.

У офицера этого был определенный план, и он принялся проводить его с чрезвычайной энергией и упорством. Он поселился в квартире брата и усвоил себе его привычки и даже его распорядок дня, искал знакомства со всеми людьми, с которыми водился покойный. Всех остальных случаев знакомиться с людьми он избегал. Сделавшись учеником академии, стал рисовать и писать красками, проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем, он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата и записался на курсы итальянского языка для начинающих, которые посещал его брат, причем ходил исправнейшим образом на все уроки, хотя, будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. И все это он делал в уверенности, что таким путем должен непременно прийти в конце концов к выяснению причины загадочного самоубийства, – ничто не могло его сбить с этого пути.

Такую жизнь, которая была, в сущности, жизнью другого, он вел целых два месяца, и я не знаю, приблизился ли он за это время к своей цели. Но однажды он пришел домой очень поздно. Его хозяйка обратила внимание на этот поздний приход, противоречивший его обычному, с точностью до минуты, предустановленному препровождению времени. Настроен он был неплохо, хотя и досадовал на то, что обед простыл. Он сказал, что собирается вечером пойти в оперу, билеты, должно быть, еще не все распроданы, заметил он, а к одиннадцати часам просил подать ужин в его комнату.

Спустя четверть часа пришла кухарка с черным кофе. Дверь была заперта, но она слышала шаги офицера, расхаживавшего по комнате. Она постучала, сказала: «Кофе, господин лейтенант!» – и поставила чашку на стул перед дверью. Немного погодя она пришла еще раз за посудой. Кофе стоит по-прежнему перед дверью. Она стучит, офицер не отвечает, она прислушивается – в комнате тишина; но вдруг она слышит слова и возгласы на непонятном языке, и сейчас же после этого раздается громкий крик.

Она дергает за дверную ручку, зовет, поднимает шум, прибегает хозяйка, обе взламывают дверь – комната пуста. Но окна открыты настежь, с улицы доносятся крики, и тут им становится ясно, что произошло: внизу теснятся люди вокруг трупа, молодой офицер за полминуты до этого выбросился в окно... На столе еще лежит его тлеющая папираса.

– Выбросился в окно? – прервал рассказчика инженер. – Это поразительно. Ведь у него, как у офицера, наверное, было оружие.

– Совершенно верно. В ящике письменного стола был найден револьвер, вполне исправный, но незаряженный. Офицерский револьвер, девятимиллиметрового калибра. В том же ящике находилась целая коробка патронов к нему.

– Дальше, дальше, – торопил доктор Горский.

– Дальше? Да ведь это все. Он покончил с собою так же, как его брат. Нашел ли он разгадку тайны, не знаю. Но если нашел, то имел, по-видимому, основания унести эту тайну с собою.

– Что за вздор! – воскликнул доктор Горский. – Ведь оставил же он какую-нибудь записку, объяснение своего поступка, какую-нибудь строчку, по крайней мере для родителей.

– Нет.

Не Ойген Бишоф произнес уверенным тоном этот ответ, а инженер Сольгруб. И он продолжал:

– Разве вы не понимаете, что у этого офицера не было времени? Времени не было, вот что поразительнее всего в этом самоубийстве. Он не успел достать свой револьвер и зарядить его. Как же мог он успеть написать прощальное письмо?

– Ты ошибаешься, Сольгруб, – сказал Ойген Бишоф, – офицер оставил письменное сообщение. Оно, впрочем, состояло из одного только слова или, вернее, части слова.

– Вот это называется военным лаконизмом, – заметил доктор Горский и веселым подмигиванием дал понять, что считает вымыслом всю эту историю.

– Потом острие карандаша сломалось, – закончил свой рассказ Ойген Бишоф, – бумага в этом месте прорвана.

– Какое же слово?

– Оно было нацарапано необыкновенно спешно, его почти невозможно было разобрать, и гласило оно: «Ужас...»

Никто из нас не произнес ни слова, только у инженера вырвалось короткое удивленное «ах!».

Дина встала и повернула выключатель. В комнате стало теперь светло, но гнетущее чувство, овладевшее мною, овладевшее всеми нами, не исчезло.

Один только доктор Горский отнесся к делу скептически.

– Признавайтесь, Бишоф, – сказал он, – всю эту историю вы сочинили, чтобы нас запугать.

Ойген Бишоф покачал головой:

– Нет, доктор, ничего я не сочинил. Все это произошло совсем недавно и во всех подробностях именно так, как я вам рассказал. Да, по временам наталкиваешься на необычайные вещи, доктор, можете мне поверить. Как смотришь ты на этот случай, Сольгруб?

– Убийство! – сказал инженер коротко и решительно. – Весьма необыкновенный род убийства, это мне ясно. Но кто убийца? Как проник он в комнату и как исчез? Надо бы всю эту историю тщательно обсудить наедине с самим собою.

Он взглянул на свои часы.

– Поздно уже, мне пора уходить.

– Вздор! Вы все останетесь ужинать, – объявил Ойген Бишоф. – А затем мы еще посидим и немного поболтаем о более веселых вещах.

– А как бы вы отнеслись к тому, чтобы собравшееся здесь общество ценителей прослушало кое-что из вашей новой роли? – спросил доктор Горский.

Ойгену Бишофу предстояло через несколько дней впервые выступить в роли Ричарда III – об этом сообщали все газеты. Но предложение доктора Горского, казалось, не понравилось ему. Он поджал губы и наморщил лоб.

– Не сегодня, – сказал он. – В другой раз с удовольствием.

Дина и ее брат принялись его упрощать:

– Отчего не сегодня? Что за капризы? Все уже предвкушают эту радость.

– Хочется же иметь некоторое преимущество перед плебсом партера и лож, когда имеешь честь лично быть знакомым с вами, Бишоф, – признался доктор Горский.

Ойген Бишоф покачал головой и отказался наотрез:

– Нет, сегодня не могу. Вы бы услышали нечто совсем необработанное, а этого я не хочу.

– Устрой своего рода генеральную репетицию перед добрыми друзьями, – предложил инженер.

– Да нет же, не уговаривай меня. Я ведь обычно не заставляю себя долго просить, вы знаете. Я и сам люблю читать. Но сегодня не могу. У меня еще не живет в воображении образ этого Ричарда. Мне надо иметь его перед глазами, надо видеть его, иначе я бессилен.

Доктор Горский сделал вид, будто сдается, но снова весело мне подмигнул, потому что владел превосходным и многократно испытанным способом преодолевать сопротивление актера и собирался прибегнуть к этому способу. Приступил он к делу очень хитро и осмотрительно и принялся в непринужденном тоне рассказывать об одном весьма посредственном берлинском актере, которого якобы видел однажды в этой роли. Актера этого он очень стал хвалить.

– Вы знаете, Бишоф, я не особенный энтузиаст, но этот Земблинский положительно феноменален. Какие идеи у этого дьявола! Как он сидит на ступенях дворца, подбрасывает перчатку и ловит ее, и жмурится, и потягивается, как кошка на солнце! А затем как он строит свой монолог!

И чтобы дать об этом представление Ойгену Бишофу, доктор Горский начинает декламировать с большим пафосом и пылкой жестикуляцией:

– «Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом...»¹.

Он прервал себя самого замечанием:

– Нет, наоборот, сначала «обойден», потом «укорочен». Но это неважно. «Уродлив, жалок... – как там дальше? – ...выброшен до срока в сей мир дыхания...»

– Довольно, доктор, – перебил его актер, покамест еще очень кротко.

¹ У. Шекспир. «Ричард III», пер. А. Радловой, акт I, сц. 1, строки 18–19. (Здесь и далее примеч. пер.)

– «В сей мир дыханья, – не мешайте мне, – недоделан даже наполовину, холм и так ужасен, что псы рычат, когда я прохожу...»

– Довольно! – крикнул Ойген Бишоф и зажал уши руками. – Перестаньте! Вы меня изводите.

Доктор Горский продолжал, не смущаясь:

– «И если не могу я, как влюбленный, красноречиво время коротать, то я намерен страшным стать злодеем».

– А я намерен вас задушить, если вы не перестанете! – взревел Ойген Бишоф. – Помилуйте, вы ведь превращаете этого Глостера в сентиментального шута! Ричард III – хищный зверь, изверг, бестия, но все же он мужчина и король, а не истерический паяц, черт меня поберет совсем.

Он взволнованно зашагал по комнате, увлеченный ролью. Вдруг он остановился, и все произошло совершенно так, как это предвидел доктор Горский.

– Я покажу вам, как надо играть Ричарда. Замолчите-ка теперь – вы услышите этот монолог.

– Я по-своему понимаю эту фигуру, – сказал с невозмутимой дерзостью доктор Горский. – Но вы актер, а не я, и я охотно познакомлюсь с вашим толкованием.

Ойген Бишоф обдал его лукавым презрительным взглядом. Собираясь превратиться в шекспировского короля, он видел перед собой уже не доктора Горского, а своего несчастного брата Кларенса.

– Внимание! – приказал он. – Я уйду на несколько минут в павильон. Откройте тем временем окна: здесь ведь нельзя дышать от табачного дыма. Я сейчас вернусь.

– Ты хочешь загримироваться? – спросил брат Дины. – К чему это? Читай без грима.

Глаза у Ойгена Бишофа сверкали и горели. Он был в таком возбуждении, какого я никогда еще у него не наблюдал. И сказал он нечто весьма странное:

– Загримироваться? Нет. Я хочу только увидеть пуговицы на мундире. Вы должны меня оставить на некоторое время в одиночестве. Через две минуты я снова буду здесь.

Он вышел, но сейчас же возвратился.

– Послушайте, ваш Земблинский, ваш великий Земблинский, – знаете ли, кто он такой? Болван, и больше ничего. Я его видел как-то в роли Яго – это было непереносимо.

И затем он выбежал из комнаты. Я видел, как он быстро шел по саду, разговаривая с самим собой, жестикулируя; он был уже в Байнардском замке, в мире короля Ричарда. По дороге он чуть было не опрокинул старика садовника, который все еще стоял на коленях и срезал траву, хотя сумерки уже сгустились. Сейчас же после этого фигура Ойгена Бишофа исчезла, и спустя мгновение окна павильона осветились и начали струить трепетные лучи, посылая колеблющиеся тени в большой, безмолвный, одетый мраком сад.

Глава 5

Доктор Горский все еще продолжал с ложным пафосом и смешными жестами декламировать стихи из трагедий Шекспира. Делал он это теперь, когда Ойгена Бишофа с нами не было, только из увлечения, из упрямства и чтобы скоротать время ожидания. Придя в полное исступление, он взялся за короля Лира и, к нашей общей досаде, начал своим несколько хриплым голосом исполнять песни шута, тут же придумывая к ним мелодии. Инженер между тем сидел молчаливо в кресле, выкуривал одну папироску за другой и рассматривал узоры ковра у себя под ногами. Ему не давала покоя история морского офицера, загадочные и трагические обстоятельства этого самоубийства продолжали занимать его мысль. По временам он, встрепенувшись и удивленно покачивая головой, глядел на поющего доктора как на редкое и непостижимое явление и один раз сделал попытку вернуть его в мир действительности.

Он перегнулся вперед и решительно схватил доктора Горского за руку.

– Послушайте, доктор, одна подробность в этом деле мне совершенно непонятна. Помолчите немного, выслушайте меня, пожалуйста. Допустим, что это было самоубийство, которое совершено под влиянием внезапного решения. Ладно. Но почему, позвольте вас спросить, офицер уже за четверть часа до этого заперся в своей комнате? Еще совсем не думает о самоубийстве, а запирает дверь... С какой целью? Объясните мне это, если можете.

– «Шутом своим назначь того, кто дал тебе совет уйти из царства своего; иль сам держи ответ».

Только этими словами да еще сердитым движением руки, каким отмахиваются от мухи, ответил ему доктор Горский.

– Бросьте вы вздор молоть, доктор, – уговаривал его инженер. – За четверть часа до самоубийства он запирает дверь. Казалось бы, времени у него достаточно для приготовлений. А потом он выскакивает в окно. Но так не поступает офицер, у которого лежит револьвер в письменном столе да еще полная коробка патронов к нему.

Доктору Горскому эти соображения и выводы не помешали продолжать пение шекспировских стихов. Он был весь во власти вдохновения. И смешно было смотреть на этого маленького и немного кривого восторженного человечка, стоявшего посреди комнаты и дергавшего струны воображаемой лютни.

– «Кто сладкий шут, кто горький шут, узнаешь ты тогда...»

Инженер убедился наконец, что его невозможно склонить к обсуждению этого вопроса, и обратился ко мне:

– Тут есть ведь, в сущности, противоречие, вы не находите? Напомните мне, будьте добры, о том, чтобы я спросил об этом Ойгена Бишофа перед нашим уходом.

– Куда девалась моя сестра? – спросил Феликс.

– Она хорошо сделала, что ушла, тут чересчур накурено, – заметил инженер и бросил окурок в пепельницу. – *Magna pars fui*², признаюсь. Нам следовало открыть окна, мы об этом забыли.

Никто не заметил, как я вышел. Я тихо прикрыл за собою дверь. В надежде найти Дину в саду я стал ходить по песчаным дорожкам до деревянного забора соседнего сада. Но ни в одном из обычных мест не нашел ее.

На садовом столе под откосом лежала открытая книга, ее листы были влажны от дождя или ночной росы. В нише стены мне померещилась какая-то фигура. «Это Дина», – подумал я, но, подойдя ближе, я увидел садовую утварь, две пустые лейки, корзину, прислоненные к стене грабли и порванный гамак, качавшийся от ветра.

² Здесь: Многовато дыма (лат.).

Не знаю, как долго я оставался в саду. Может быть, долго. Возможно, что я стоял, прислонившись к стволу дерева, и грезил.

Вдруг я услышал шум и громкий смех, доносившийся из комнаты. Чья-то рука резво пробежала по клавишам рояля от самой низкой октавы до последних пронзительных дискантов. В раме окна показалась фигура Феликса, как большая темная тень.

– Это ты, Ойген? – крикнул он в сад. – Нет... Это вы, барон? – В голосе его прозвучала вдруг тревога: – Где вы были? Откуда идете?

За его спиной показался доктор Горский, узнал меня тоже и принялся декламировать:

– «Тебя ли в лунном свете вижу я?..»

Он запнулся, кто-то из двух других оттащил его от окна, я еще только услышал его возглас:

– «Прочь, дерзновенный!..»

Потом наступила тишина. Над их головами, во втором этаже виллы, сделалось вдруг светло. Дина появилась на веранде и начала накрывать на стол в мягком свете стоячей лампы.

Я вернулся в дом и поднялся по деревянной лестнице на веранду. Дина услышала мои шаги, повернула голову в мою сторону и поднесла руку к глазам козырьком.

– Это ты, Готфрид? – сказала она.

Я молча сел против нее и смотрел, как она ставит тарелки и стаканы на белую скатерть стола. Я слышал ее глубокое и ровное дыхание, она дышала, как спящий ребенок. Ветер гнул и раскачивал ветви каштановых деревьев и гнал перед собою по аллеям маленькие кавалькады блеклых осенних листьев. Внизу старый садовник все еще работал. Он зажег фонарь, стоявший рядом с ним на грядке, и тусклый свет фонаря смешивался с яркими полосами света, широко и спокойно струившимися из окон павильона.

Вдруг я вздрогнул.

Кто-то позвал меня: «Пош!» Только этот звук раздался, но в голосе послышалось нечто, испугавшее меня: гнев, отвращение, упрек и тревога.

Дина приостановила свою работу и прислушалась. Потом взглянула на меня вопросительно и удивленно.

– Это Ойген, – сказала она. – Что ему нужно?

И вот... голос Ойгена Бишофа раздался во второй раз:

– Дина! Дина! – кричит он, но теперь его голос звучит совсем иначе, не гнев и тревога, а скорбь, терзание, бесконечное отчаяние слышатся в нем на этот раз.

– Я здесь, Ойген! Здесь! – кричит Дина, выгнувшись из окна.

Две-три секунды тишина. Потом раздается выстрел, и сейчас же после него второй.

Я видел, как отшатнулась Дина. Она замерла в неподвижности, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить. Я не мог остаться с нею, меня повлекло вниз посмотреть, что случилось. Помнится, у меня в первый миг возникло представление о двух ворах, пробравшихся в сад за фруктами. Не знаю, как это произошло, но я очутился не в саду, а в совершенно мне незнакомой темной комнате первого этажа. Я не находил выхода – ни окна, ни света. Повсюду стена, я больно ударился лбом о что-то твердое, угловатое. В течение минуты я бродил впотьмах, ощупывая стены, все яростнее, все беспомощнее.

Потом послышались шаги, открылась дверь, во мраке вспыхнула спичка. Передо мною стоял инженер.

– Что это было? – спросил я, испуганный и встревоженный и все же обрадованный тем, что стало наконец светло и что я не один. – Что это было? Что случилось?

Представление о ворах превратилось в отчетливую картину, и я был убежден, что видел ее. Мне казалось теперь, что их было трое. Один, маленький, бородатый, свесился с садовой ограды, другой только что поднялся с земли, а третий бежал вприпрыжку за кустами и деревьями к павильону.

– Что случилось? – спросил я еще раз.

Спичка погасла, и лицо инженера, бледное и оторопелое, исчезло во мраке.

– Я ищу Дину, – услышал я его слова. – Ее нельзя пускать к нему. Это ужасно. Кто-нибудь из нас должен остаться с нею.

– Она наверху, на веранде.

– Как могли вы ее оставить одну? – крикнул он, и спустя мгновение его уже не было в комнате.

Я вошел в комнату, где мы музицировали. Она была пуста. Опрокинутый стул лежал перед дверью.

Спустился в сад. Помню еще мучительное нетерпение, которое испытывал оттого, что дорога через сад показалась мне такой длинной, бесконечной.

Дверь в павильон была открыта. Я вошел.

Внезапно, прежде еще, чем я окинул взглядом комнату, мне стало ясно, что произошло. Я понял, что борьбы с ворами не было, что Ойген Бишоф покончил с собою. Откуда у меня вдруг появилась такая уверенность, не могу сказать.

Он лежал около письменного стола на полу с лицом, обращенным ко мне. Пиджак и жилет были расстегнуты, револьвер зажат в вытянутой правой руке. При падении он увлек за собою две книги, письменный прибор и маленький мраморный бюст Ифланда. Рядом с ним стоял на коленях доктор Горский.

Когда я вошел, жизнь еще тлела в Ойгене Бишофе. Он открыл глаза, рука у него вздрогнула, голова шевельнулась. Показалось ли мне это только? Его слегка искаженное болью лицо выразило, так почудилось мне, неописуемое изумление, когда он узнал меня.

Он пытался приподняться, хотел заговорить, простонал и откинулся назад. Доктор Горский держал его левую руку.

Но только на протяжении одного короткого мгновения в чертах его было заметно это загадочное выражение безграничного удивления. Потом их исказила гримаса неистовой ненависти.

И этот полный ненависти взгляд устремлен был на меня, не выпускал меня. Ко мне относился он, ко мне одному, и я не мог его объяснить себе, не мог понять, что должен был он означать. И самого себя не понимал я, не мог постигнуть того, что, стоя перед умирающим, испытывал не ужас, не испуг или уныние, а только легкое жуткое чувство от его взгляда и боязнь запачкаться о пятно крови на ковре, которое становилось все шире.

Доктор Горский встал. Лицо Ойгена Бишофа, некогда такое подвижное, превратилось в бледную, застывшую, безмолвную маску.

Со стороны двери я услышал голос Феликса:

– Она идет! Она уже в саду! Доктор, что нам делать?

Доктор Горский снял со стены дождевой плащ и покрыл им бездыханное тело актера.

– Пойдите к ней навстречу, доктор! – попросил Феликс. – Поговорите с нею, я не могу.

Я видел, как Дина шла по саду к павильону и рядом с нею шел инженер и старался удерживать ее. Мною овладела вдруг бесконечная усталость, я не мог устоять на ногах, охотнее всего я кинулся бы в траву, чтобы отдохнуть.

– Это ничего, – сказал я себе, – это только временная слабость, быть может, потому, что я раньше так быстро бежал по саду.

И после того как Дина исчезла в дверях павильона, необыкновенная вещь случилась со мною.

Глухой садовник все еще занят был своею работою, склонившись над травой. Для него не произошло ничего, он не слышал ни крика, ни выстрела. Но теперь он, очевидно, почувствовал на себе мой взгляд, потому что выпрямился и посмотрел на меня.

– Вы меня позвали? – спросил он.

Я покачал головой. Нет, я не звал его.

Но он не поверил мне. Шум, заглушенно и смутно проникший в его глухие уши, вызвал в нем неопределенное ощущение, что кто-то произнес его имя.

– Нет, вы меня окликнули, – повторил он ворчливо и, взявшись опять за работу, уже не спускал с меня глаз, подозрительно косясь на меня.

И в этот миг... Только в этот миг охватил меня тот ужас, которого я не испытывал перед трупом Ойгена Бишофа. Теперь он вдруг возник. Отчаяние потрясло меня, мороз пробежал у меня по коже. Нет. Я не звал его... Вот он стоит, и пялит на меня глаза, и поднимает серп, и срезает траву. Это старый глухой садовник, да, но вид у него был одно мгновение такой, как на одной старой картине у фигуры смерти.

Глава 6

Это длилось только короткое мгновение, а затем я опять овладел своими нервами и чувствами. Я покачал головой, я не мог не улыбнуться при мысли, что, грезя наяву, принял простодушного старого слугу за молчаливого посланца смерти, темного лодочника Леты. Медленно пошел я по саду до откоса и там, в укромном уголке между забором и оранжереей, нашел стол и скамью и опустился на нее.

Должно быть, раньше шел дождь, или то была ночная роса? Листья и ветви кустов сирени обдали мне влагой лицо, дождевая капля скользнула по руке. Неподалеку от меня стояли, должно быть, сосны и ели, я не видел их во мраке, но их запах доносился ко мне.

Мне было приятно здесь сидеть, я вдыхал прохладный сырой воздух сада, подставляя порывам ветра лицо, прислушивался к дыханию ночи. Я испытывал тихо сверлящее чувство страха, боялся, что мое отсутствие будет замечено, что меня примутся искать и найдут наконец в этом месте. Нет! Мне нужно было быть одному, ни с кем бы я не мог теперь говорить, ни с Диной, ни с ее братом, и боялся с ними встретиться: что мог бы я им сказать? Только пустые слова утешения, бессодержательность которых была бы мне противна.

Я сознавал, что мое исчезновение должно быть истолковано так, как его, в сущности, следовало истолковать: как бегство от тяжелых впечатлений. Но это было мне безразлично. И я вспомнил, что в детстве часто поступал так же: когда в день ангела моей матери я должен был произнести тщательно выученные пожелания и стихи, на меня нашел такой страх, что я убежал и спрятался, меня не могли разыскать, и возвратился я только по окончании торжества.

Из открытого окна кухни соседнего дома доносились звуки гармоника. Несколько тактов пустого, глупого вальса, который я уже слышал несчетное число раз, «Valse bleue» или «Souvenir de Moscou»³ – я не мог вспомнить его названия. Как понять, что эти звуки так меня успокоили, унесли сразу прочь все то, что меня тяготило? «Valse bleue» – хороша траурная музыка! Там, в павильоне, лежит мертвец на полу, существо уже не моего, а иного мира, непостижимо чуждое существо. Но куда же делся ужас перед возвышенным, перед трагическим, перед непостижимым и непреложным? «Valse bleue»! Банальная мелодия танца, таков ритм жизни и смерти, так мы приходим и так уходим. То, что потрясает нас и повергает ниц, становится иронической усмешкой на лице мирового духа, для которого и страдание, и скорбь, и смерть земнородных не что иное, как извечно и ежечасно повторяющееся явление.

Музыка вдруг оборвалась, и несколько минут стояла глубокая тишина, только дождевые капли не переставали падать с ветвей кленов на стеклянную крышу оранжереи. Потом гармоника опять заиграла, на этот раз – марш... Где-то вблизи пробили часы на башне.

– Десять часов, – насчитал я. – Как поздно! А я сижу здесь и слушаю гармонику. А там... Дина и ее брат... Быть может, я нужен им... Меня, наверное, ищут... Дина не может не думать обо мне.

И тут же мне в голову пришло множество вещей, которыми нужно распорядиться: надо дать знать властям, должен явиться полицейский врач... Затем нужно снестись с похоронным бюро... А я сижу здесь и слушаю музыку, что доносится из кухонного окна! Надо поместить объявления в газетах... Не все же одной Дине делать? А мы-то тут на что же? В газетах не должно быть ни слова о самоубийстве, надо сесть в фиакр и объехать редакции! Скоропостижная смерть любимого артиста... В расцвете творческих сил. Незаменимая утрата для отечественной сцены... для многих тысяч его поклонников... для глубоко потрясенной семьи...

А контора театра! Внезапно пришло мне это на ум. Господи, как мог никто не подумать об этом? Нужно изменить репертуар следующей недели, теперь это важнее всего. Открыта ли

³ «Голубой вальс», «Воспоминание о Москве» (фр.).

еще контора в этот час, да еще в воскресенье? Десять часов – нужно сейчас позвонить, или, еще лучше, позвоню-ка я директору. Как я раньше не подумал это сделать – я, в качестве друга дома?.. Но теперь не будем терять времени...

Я собирался вскочить и побежать, меня потянуло действовать, распоряжаться, взять на себя все заботы. «Нужно телефонировать, – сказал я себе еще раз, – через пять минут уже будет, пожалуй, поздно... Никого уже не будет в конторе... Во вторник идет король Ричард III...» И тем не менее я продолжал сидеть, вялый и дряблый, смертельно утомленный и неспособный осуществить какое-либо из своих намерений.

«Я болен», – шептал я самому себе и еще раз попытался встать. Разумеется, у меня жар, я так и думал. Без пальто и шляпы сидеть на свежем воздухе холодной ночью и при такой сырости – этак и умереть можно. И я достал из кармана газету – она была при мне, бог весть зачем я взял ее с собою – и тщательно разложил ее листы на скамье, чтобы подо мною не было мокро. И вдруг у меня в ушах раздался голос моего старого врача, так отчетливо, словно старик стоял передо мною:

«Что слышу я, барон, мы больны? Немного бурно жили последнее время, не так ли? Немного переутомились, не правда ли? Ну-с, надо полежать немного в постели, денька два-три, быть может, время у нас ведь есть, мы ничего не теряем. Укутаться в одеяло потеплее, и горячего чаю, это наверное не повредит, и покой, только покой и еще раз покой, ни писем, ни газет, ни посетителей, вот это нам будет как полезно! Послушайтесь же старого своего доктора, он вам желает добра, и сейчас же отправляйтесь домой, тут нам нечего делать. Мы очень расхворались, жар, не правда ли? Дайте-ка пощупать пульс...»

Я послушно поднял руку и очнулся от сна – я сидел один на мокрой и холодной скамье. Я в самом деле был болен, озноб сотрясал меня, зубы стучали. Я хотел уйти домой не попросившись, я не нужен здесь, кому же я нужен? Дина и Феликс знают сами, что им надо делать, да и доктор Горский с ними, я только мешаю всем.

Спокойной ночи, сад! Спокойной ночи, гармоника, подруга этих одиноких мгновений... Милый старый Ойген, спокойной ночи навеки! Я ухожу и оставляю тебя одного, я больше не нужен тебе...

Я встал, утомленный, промокший и продрогший, и хотел уйти, и ошупью искал свою шляпу. Но не находил и не мог вспомнить, где ее оставил. И в то время, как водил рукою по столу, нащупал книгу, которая лежала здесь раскрытая уже несколько дней или недель.

Быть может, потому, что пальцы мои прикоснулись к отсыревшим от дождя листам, быть может, от порыва ветра, опавшего мне лицо в тот миг, когда я собрался уходить, не знаю, отчего это случилось, но я вдруг ощутил дуновение и запах одного прошедшего дня, ощущал это в течение одной только секунды, но в эту секунду он ожил передо мною, и я его узнал. Осеннее утро за городом, на холмах, куда с огородов доносился запах вянувшей ботвы. Мы шли вверх по лесной дорожке, перед нами высилась зеленая стена холмов, и над вершинами деревьев стлался белый прозрачный туман. Словно предчувствием приближающихся холодов проникнут был пейзаж, холодно и ясно было синее осеннее небо, и по обеим сторонам дороги рдели кусты шиповника.

Дина склонилась головою ко мне на плечо, ветер играл короткими каштановыми кудрями на ее лбу. Мы остановились, и она тихо произносила стихи, стихи о красных листьях осени и о серебристом тумане, опустившемся на холмы.

Потом это видение исчезло, растворилось так же внезапно, как возникло, но другое воспоминание сменило его: дом, стоящий высоко в горах, ночь под Новый год, снежный полог вокруг, окна в ледяных узорах... Как хорошо, что хозяин поставил железную печурку в мою комнату, она трещит и сыплет искрами и добела раскалилась. В дверь скребется мой щенок, и повизгивает, и хочет к нам войти... «Это Замор, – шепчет она, – открой ему, он нас не выдаст».

И я оторвался от губ Дины, от объятий Дины, чтобы открыть ему дверь, и на мгновение ворвались в комнату холодный, сквозной ветер, и заглушенная музыка танцев, и звон стаканов...

Потом исчезло и это видение, осталось только ощущение холода, и все еще музыка танцев доносилась из кухонного окна. И меня охватило дикое отчаяние, жгучая боль... О боже мой, как могло случиться, что мы стали друг другу такими чужими?.. Может ли быть, чтобы исчезло то, что когда-то связало двух людей? Как могли мы сегодня сидеть друг против друга как два чужих человека и не обменяться ни словом? Как случилось то, что она так внезапно выскользнула из моих объятий и другой ее держит в своих, а я – я ныне тот, кто скребется в дверь и повизгивает тихо?

И тут, только в это мгновение, я осознал, что тот, другой, – умер; это слово «умер», что оно значит, – я понял только в это мгновение.

И оторопь, и изумление овладели мною при мысли об этой игре случая, по воле которого я оказался здесь, как раз сегодня и в этот час, когда рок свершился. Нет! Это не была игра случая, так было мне суждено, ибо существуют непреложные законы, которым мы подчинены.

И теперь, когда это случилось, я собирался уйти, ускользнуть?

...Я не мог понять, как могла такая мысль прийти мне на ум. А наверху сидит Дина, сидит в темной комнате и ждет.

– Это ты, Готфрид? Ты так долго не возвращался...

– Я встал, дорогая, чтобы открыть дверь. Ты ведь этого хотела. Теперь я снова с тобою...

В павильоне был еще свет. Я стоял, притаившись за каштановым деревом, и ждал.

Дверь открылась, и я услышал голоса. Феликс вышел с фонарем в руке и медленно направился к дому.

За ним как тени шли две фигуры: Дина и доктор Горский.

Она меня не видела.

– Дина, – сказал я тихо, когда она проходила мимо меня так близко, что почти коснулась меня рукою.

Она остановилась и ухватила за руку доктора Горского.

– Дина, – повторил я.

Тогда она выпустила руку доктора и шагнула в мою сторону.

Фонарь скользнул вверх по ступеням и исчез в дверях виллы. Одно мгновение я видел в его лучах фигуру Дины, одно мгновение деревья, кусты и гирлянды плюща отбрасывали тени – потом сад опять погрузился в глубокий мрак.

– Вы еще здесь? – услышал я голос Дины. – Что нужно вам здесь еще?

Что-то скользнуло по моему лбу, словно прикосновение легкой теплой руки. Я поднял руку ко лбу – это был только блеклый лист каштана, слетавший с вершины дерева на землю.

– Я искал своего Замора, – ответил я и хотел этим сказать, что думал о прошедших временах.

Долгое молчание.

– Если в вас есть искра человечности, – раздался наконец тихий и робкий голос Дины, – уходите отсюда, уходите сейчас.

Глава 7

Я стоял и смотрел ей вслед, несколько минут в ушах у меня звучал только любимый голос, и она уже давно исчезла, когда до моего сознания дошли наконец ее слова.

В первое мгновение я чувствовал беспомощность и был бесконечно ошеломлен, но потом во мне проснулся сильный гнев, я в крайнем ожесточении восстал против смысла ее слов, я понял, как они оскорбительны. Теперь уйти! Теперь ведь я не мог уйти. Жар, и озноб, и усталость исчезли... «Я их потребую к ответу, – бушевало во мне, – они должны мне представить объяснения, Феликс, доктор Горский, я настаиваю на этом. Я ведь ей ничего не сделал, бог ты мой, что же я сделал ей?..»

Разумеется, произошло несчастье, огромное несчастье, и его, пожалуй, можно было предотвратить! Но ведь я не виноват в этом несчастье, не я же в нем виноват! Его не следовало оставлять одного, ни одной минуты не должен был он оставаться один; каким образом вообще у него оказался револьвер? А теперь еще, чего доброго, на меня хотят взвалить вину? Я понимаю, что в такое мгновение люди могут быть несправедливы и не взвешивают своих слов. Но именно поэтому я должен остаться, я вправе потребовать объяснений, я должен...

Вдруг меня осенила мысль, совершенно естественная мысль, в свете которой мое волнение показалось мне смешным. Несомненно, это недоразумение. Это может быть, конечно же, только недоразумением. Я неправильно понял слова Дины, смысл их был совсем не тот. Она хотела просто сказать, чтобы я шел домой, потому что больше здесь ничем не могу помочь. Это ясно. Совершенно ясно. Никто и не думал возлагать на меня вину. Надо мною просто подшутили мои раздраженные нервы. Доктор Горский был при этом и слышал ее слова. Я решил подождать его, он должен был мне подтвердить, что все это было простым недоразумением.

«Долго это ведь не может длиться, – говорил я себе, – долго мне ждать не придется. Феликс и доктор Горский должны скоро вернуться, нельзя же бедного Ойгена... Не оставят же они его одного на всю ночь лежащим на полу».

Я тихо подошел к окну, подкрался, как вор, и заглянул в комнату. Он все еще лежал на полу, но его покрыли платком, шотландским пледом. Я видел его как-то в «Макбете», об этом я вспомнил невольно, и тотчас же в ушах у меня раздались слова леди Макбет: «Всех арабийских ароматов мало...»

И тут я опять почувствовал озноб и усталость, холодный пот и жар, но подавил в себе эти ощущения.

«Вздор! – сказал я себе. – Эти страхи, право же, совершенно тут неуместны». Я решительно открыл дверь и вошел, но эта решительность сразу же уступила место опасливой робости, потому что я впервые оказался наедине с мертвецом.

Вот он лежал, закрытый пледом, видна была только его правая рука. В ней уже не было револьвера, кто-то взял его и положил на столик, стоявший посередине комнаты. Я подошел, чтобы рассмотреть оружие, и заметил в этот миг, что я в комнате не один.

Инженер стоял за письменным столом у стены, склонившись над чем-то, чего я не видел. Казалось, он погружен в созерцание узора обоев, так внимательно он присматривался к ним. Заслышав мои шаги, он обернулся.

– Это вы, барон? Какой у вас вид! Вас очень потрясло это событие, не правда ли?

Он стоял передо мною, широко расставив ноги, руки засунув в карманы, с папиросой в зубах... В комнате, где лежит покойник, с папиросой в зубах... Воплощенная нечуткость – таким он стоял передо мною.

– Вы в первый раз стоите перед трупом? Не так ли? Вы счастливчик, барон! Эх вы, офицеры мирного времени!.. Я это сразу понял: вы ступаете так осторожно. Можете шагать тверже, тут вы никого не разбудите.

Я молчал. Он бросил папиросу очень уверенным жестом в пепельницу, стоявшую в нескольких шагах от него на письменном столе, и сейчас же закурил другую.

– Я прибалтийский немец, вы это знаете? – продолжал он затем. – Родился в Митаве и участвовал в русско-японской войне.

– Цусима? – спросил я.

Не знаю, почему мне как раз пришло в голову название этой морской битвы. Я подумал, что он был, вероятно, инженером флота или чем-то в этом роде.

– Нет, Мунхо, – ответил он. – Вам доводилось об этом слышать?

Я покачал головой.

– Мунхо. Это не местность. Это река. Желтая вода между цепями холмов. Об этом лучше не вспоминать. Там они лежали однажды утром, пятьсот или больше, один подле другого, целая цепь стрелков с обожженными руками и желтыми, искаженными лицами... Дьяволыщина! Нет для этого другого слова.

– Мина? – спросил я.

– Токи высокого напряжения. Моя работа. Тысяча двести вольт. Подчас, когда мне вспоминается это, я говорю себе: что ж такое, Дальний Восток, две тысячи миль отсюда, пять лет прошло, в пыль и прах обратилось все то, что ты видел там. Никакие рассуждения не помогают. Такая вещь запечатлевается, такую вещь нельзя забыть.

Он молчал и выпускал дым папиросы в воздух красиво закругленными кольцами. Все, что касалось курения, приняло у него характер жонглерского искусства.

– Теперь они собираются уничтожить войну, – продолжал он, помолчав немного. – Войну хотят они упразднить! Разве это поможет? Вот это, – он движением пальца указал на револьвер, – хотят уничтожить и все другое в этом роде. Какое же это спасение? Человеческая подлость останется, а она из всех орудий убийства самое смертоносное орудие.

«Зачем он говорит мне это? – спросил я себя в удивлении и беспокойстве. – Почему глядит на меня так странно? Уж не считает ли он меня виновным в самоубийстве Ойгена Бишофа?»

И я сказал тихо:

– Он добровольно покончил с собою.

– Вот как? Добровольно? – воскликнул инженер с испугавшей меня запальчивостью. – Вы в этом вполне уверены? Выслушайте меня, барон. Я первый проник в эту комнату. Дверь была заперта изнутри, я разбил окно, осколки еще не убраны. Я видел его лицо, я был первый, увидевший его лицо. И я говорю вам: отчаяние, исказившее лица тех пятисот на реке Мунхо, которые во мраке взбегали на холм и знали, что в следующий миг прикоснутся к проволоке, это отчаяние было ничто по сравнению с тем, что выражало лицо Ойгена Бишофа. Он испытывал страх, безумный страх перед чем-то, что скрыто от нас. И чтобы спастись от этого страха, схватился за револьвер. Добровольно покончил с собою? Нет, барон! Ойгена Бишофа вогнали в смерть.

Он приподнял немного одеяло, закрывавшее мертвеца, и посмотрел на его застывшее лицо.

– Точно кнутом вогнали в смерть, – сказал он затем с глубоким волнением в голосе, которое не вязалось с его характером.

Я отвернулся. Я не мог смотреть в ту сторону.

– Вы думаете, стало быть, – сказал я, помолчав, и горло у меня было точно сдавлено, мне трудно было говорить, – если я вас правильно понял, вы думаете, что он об этом узнал, что это каким-то образом дошло до его слуха...

– Что? О чем вы говорите?

– Вы знаете, вероятно, что банкирский дом, где хранились его сбережения, обанкротился.

– Вот как? Представьте себе, я этого не знал. Я слышу об этом в первый раз... Нет, барон, не в этом разгадка. Страх, который выражало его лицо, был иного рода. Деньги? Нет, дело тут было не в деньгах. Вам надо было видеть его лицо – это объяснить невозможно. Когда я проник в комнату, – продолжал он после паузы, – он мог еще говорить. Произнес он только несколько слов, я понял их, хотя это был скорее лепет, чем внятная речь... Очень странные слова... Правда, в устах умирающего...

Он зашагал по комнате и покачал головою.

– Странные слова... Я, в сущности, знал его так мало. Так мало знает один человек о другом. Вы знали его лучше или, по крайней мере, больше. Скажите мне, каково было его отношение к религии, я хочу сказать – к церкви? Считали вы его набожным человеком?

– Набожным? Он был суеверен, как большинство актеров. Суеверен в мелочах. Набожности в церковном смысле я у него никогда не замечал.

– Неужели это было все-таки его последней мыслью? Эта сказка для легковверных детей? – спросил инженер и пристально посмотрел на меня.

Я ничего не сказал, я не знал, о чем он говорит. Да он и не ждал, вероятно, ответа.

– Nevermind!⁴ – сказал он самому себе, легко шевельнув рукою. – Тоже одна из тех вещей, которых мы никогда не постигнем.

Он взял револьвер со стола и взглянул на него с таким выражением, по которому видно было, что думает он о чем-то другом. Потом опять положил его на стол.

– Откуда у него взялось это оружие? – спросил я. – Это была его собственность?

Инженер вышел из своего забытья.

– Этот револьвер? Да, это его собственность. Он всегда носил его при себе, говорит Феликс. Когда он возвращался домой по ночам, ему приходилось идти полем и пустырями. Там много бродяг. Он боялся ночных встреч... Роковое значение имело именно то обстоятельство, что у него в кармане был заряженный револьвер. Прыжок из окна – это в данном случае не имело бы роковых последствий. Растяжение жилы, легкий вывих, а может быть, и того бы не случилось.

Он открыл окно и выглянул в сад. Несколько мгновений стоял он так, и ветер надувал и раскачивал оконные шторы. В саду шумели каштановые деревья. Бумаги на письменном столе шелестели, и опавший лист каштана, залетевший в комнату, бесшумно порхал по полу.

Инженер закрыл окно и опять повернулся ко мне.

– Он не был трусом. Поистине, трусом он не был. Справиться с ним было его убийце нелегко.

– Его убийце?

– Конечно. Его убийце. Он был загнан в смерть. Смотрите, вот здесь стоял он, а там – другой.

Он показал на то место стены, которое рассматривал при моем появлении.

– Они стояли друг против друга, – произнес он медленно и смотрел при этом на меня. – Лицом к лицу, как на дуэли.

Я оцепенел, внимая тому, как он говорил об этом с уверенностью очевидца.

– Кого же, – спросил я, дрожа и снова чувствуя, что у меня стиснуло горло, – кого считаете вы убийцей?

Инженер молча посмотрел на меня, не сказал ни слова, медленно поднял плечи и опять их опустил.

– Вы все еще здесь? – раздалось вдруг со стороны двери. – Отчего вы не уходите?

Я испуганно оглянулся. В дверях стоял доктор Горский и смотрел на меня.

– Уходите же! Ради бога, скройтесь скорее!

⁴ Пустяки! (англ.)

Уйти было поздно. В этот миг уже поздно было уйти.

За доктором появился брат Дины, отодвинул его в сторону и остановился передо мною.

Я посмотрел ему в лицо – как он похож был в этот миг на свою сестру! Тот же оригинальный овал лица, тот же своевольный очерк губ.

– Вы еще здесь! – сказал он мне с ледяной учтивостью, жутко контрастировавшей со страстным возгласом доктора. – Я на это не рассчитывал. Тем лучше, мы можем сейчас объяснить.

Глава 8

Я взял себя в руки. В тот миг, когда брат Дины появился в комнате, мне стало ясно, что стоящий передо мною человек – мой смертельный враг, что было бы бессмысленно спастись бегством от этого объяснения и что сражение нужно принять. Но из-за чего предстояло нам сразиться, это я в то мгновение сказать бы не мог. Знал я только, что должен остаться и смотреть противнику прямо в лицо, что бы меня ни ожидало.

Доктор Горский сделал попытку в последний момент предотвратить назревавшее событие.

– Феликс! – произнес он и показал заклиняющим и укоризненным жестом на шотландский плед, которым был покрыт мертвец. – Вспомните же, где мы находимся! Неужели этого нельзя отложить?

– Зачем же откладывать, доктор, так лучше, – сказал Феликс, не сводя с меня глаз. – Я очень доволен, что господин ротмистр еще здесь.

Он назвал меня, вопреки своему обыкновению, по моему чину. Я знал, что это должно означать. Доктор Горский еще мгновение стоял между нами в нерешительности, потом пожал плечами и направился к двери, чтобы оставить нас одних.

Но Феликс удержал его.

– Я прошу вас остаться, доктор, – сказал он. – Возможно, что дело примет один из тех оборотов, при которых обычно оказывается полезным присутствие третьего лица.

Доктор Горский, казалось, не сразу понял смысл этого замечания. Он поглядел на меня смущенно, как бы извиняясь за то, что становится свидетелем нашего разговора. Наконец он уселся на краешек письменного стола в позе, говорившей о его намерении в любое время, если это окажется желательным, покинуть комнату. Для инженера, которого никто не просил остаться, это послужило основанием тоже усесться. Он завладел единственным стулом, находившимся в комнате, закурил папиросу затейливым образом, воспользовавшись для этого только двумя пальцами левой руки, и сделал такой вид, словно правомерность его пребывания в комнате ни с чьей стороны не может вызвать сомнений.

Я видел и наблюдал это все с чисто практическим интересом, я был теперь совершенно хладнокровен, вполне владел своими нервами и спокойно ждал того, что надвигалось. Но с минуту длилось молчание. Феликс стоял, согнувшись над трупом Ойгена Бишофа, я не видел его лица, но мне казалось, что он борется со страданием, что дальше он не в силах носить маску неестественного спокойствия. Было даже мгновение, когда я ожидал, что, отдавшись порыву, он бросится на труп и такое излияние чувств положит конец этой сцене. Но ничего такого не случилось. Он выпрямился. Лицо его, когда он повернулся ко мне, свидетельствовало о полном самообладании. Он только снова накинуд на голову мертвеца соскользнувший на пол платок – я это заметил.

– К сожалению, времени у нас немного, – заговорил он, и в голосе его не слышалось ни горя, ни волнения. – Приблизительно через полчаса здесь будут представители власти, и я хотел бы, чтобы до этого времени наше дело было урегулировано.

– В этом отношении наши желания совпадают, – сказал я, поглядев на инженера. – Мне кажется, что свидетелей здесь вполне достаточно, так как эти два господина, как я вижу, были любезны предоставить себя в наше распоряжение для этого объяснения.

Доктор Горский беспокойно заерзал на краешке стола, но инженер имел наглость утвердительно кивнуть головою на мои слова.

– Сольгруб и доктор Горский – мои друзья, – ответил Феликс. – Мне важно, чтобы у них составилось по возможности ясное представление о положении вещей, и я не умолчу ни об

одном из обстоятельств, относящихся к делу; среди них и о том факте, господин ротмистр, что Дина четыре года тому назад была вашей любовницей.

Я вздрогнул. Этого я не мог ожидать. Но моя оторопь длилась очень недолго, и спустя несколько секунд я уже обдумал каждое слово своего ответа.

– Согласившись на этот разговор, я ожидал нападений, но не мог предполагать, что они будут направлены против женщины, которую я высоко чту, – сказал я. – Допускать их я не намерен. Благоволите выбранное вами выражение...

– Взять обратно? К чему, господин ротмистр? Могу вас уверить, что оно вполне соответствует пониманию Дины.

– Надлежит ли мне понять вас в том смысле, что вы уполномочены на этот разговор вашею сестрою?

– Конечно, господин ротмистр.

– В таком случае прошу вас продолжать.

По его губам скользнула мальчишеская самодовольная усмешка удовлетворения; эта первая схватка окончилась его полным торжеством. Но усмешка эта тотчас же исчезла с его лица, и тон, в котором он продолжал говорить, оставался по-прежнему корректным и почти любезным.

– Эти отношения, насчет характера которых мы, таким образом, пришли к соглашению, продолжались около полугода. Они окончились, когда вам пожелалось предпринять путешествие в Японию. Я говорю «окончились», хотя этот конец представлялся вам только предвратительным...

– Я предпринял путешествие не в Японию, а в Тонкин и Камбоджу, – прервал я его, – и отправился туда не ради своего удовольствия, а по поручению Министерства земледелия, – прибавил я, маскируя этими совершенно ничтожными поправками свое беспредельное изумление. «Как мог он так легко, так равнодушно скользнуть мимо того факта, что его сестра была моею любовницей? Куда он гнет? – спрашивал я себя. – Если он желает получить удовлетворение, то я готов к этому. Что же он замышляет еще?..» И тихое чувство страха овладело мною, предчувствие надвигающейся и неизвестной мне опасности, и этот страх не покидал меня.

– В Тонкин и Камбоджу? – продолжал Феликс, и его рука в белой повязке сделала легкий жест извинения. – Цель вашего путешествия не играет в данном случае роли. Но когда вы приблизительно через год возвратились, вас ждала перемена, которой вы не ожидали: вы застали Дину женой другого, вам пришлось узнать, что вы стали ей чужим человеком.

Да. Так это было. И теперь, в то время как он говорил, старая боль бурно во мне поднялась, жгучий гнев разочарования и вместе с ним новое чувство, донныне мне незнакомое, чувство ненависти к этому молокососу, который стоял передо мною и прикасался своими руками к вещам, глубоко во мне затаенным. Разве я здесь для того нахожусь, чтобы держать ответ? Должен ли я спокойно взирать, как он предает любопытным взглядам чужих людей все то, что в течение ряда лет было моею тайной? «Довольно!» – хотелось мне крикнуть ему, чтобы положить конец этой сцене. Но тут опять возникла прежняя боязнь, страх перед чем-то неопределенным, грозную близость чего я чувствовал, и эта боязнь парализовала меня и делала меня беспомощным и лежала на мне тяжело, как кошмар.

Брат Дины продолжал говорить совершенно бесстрастным голосом, и я должен был его слушать.

– Что женщина, которую вы считали нерасторжимо привязанной к вам, освободилась от вас и стала принадлежать другому, с этой мыслью вы, по-видимому, не могли примириться. Это было первое поражение, которое вы понесли, и вы пожелали реванша. Взять Дину снова – это стало задачей вашей жизни. Все, что вы с тех пор предпринимали, как бы ни были с виду незначительны ваши поступки, служило исключительно этой цели.

Он приостановился, может быть, для того, чтобы дать мне время для какого-нибудь замечания, возражения. Но я ничего не сказал, и он поэтому продолжал:

– Я долго наблюдал за вами, в течение ряда лет, с напряженным интересом, словно все это было спортом или волнующей шахматной партией, словно дело касалось какого-нибудь почетного кубка, а не счастья моей сестры. Я видел, какие странные вы выбирали пути для медленного приближения, как преодолевали или обходили препятствия, как описывали круги вокруг этого дома, и эти круги становились все уже и уже. Вы ухитрились добиться того, что вас позвали, и вот вы однажды появились и стали между Диной и ее мужем.

Теперь это должно было произойти, мгновение было близко. Я чувствовал, как дрожат у меня руки в нервном ожидании, я не мог дышать, так угнетала меня тишина, царившая в комнате. Чуть ли не облегчение испытал я, когда Феликс опять заговорил:

– Сегодня я могу вам сказать, господин ротмистр, что исход этой борьбы никогда не казался мне сомнительным. Вы были сильнее, потому что имели в виду одну только цель, и рядом с нею для вас отступало на задний план все остальное в жизни. Это делало вас непреодолимым. Для меня было ясно, что это супружество недолговечно, потому что так хотели вы.

Опять он приостановился, и моя боязнь обострилась в невыносимой мере. Прошло с полминуты, я перевел взгляд на доктора Горского. Он прислонился к письменному столу в позе сильнейшего нервного напряжения, лицо его выражало совершеннейшую растерянность; от него, я это видел, нечего было ждать помощи. Инженер сидел в кресле, окутанный облаком табачного дыма, и, скучая, рассматривал свои ногти, словно мысли его были заняты другими вещами.

– Все это осталось позади, – нарушил Феликс мучительное молчание. – Вы свою партию проиграли, барон. Вы сделали непоправимую ошибку. Понимаете вы, что я этим хочу сказать? Ни за что и ни на одно мгновение не потерпит Дина в своей близости человека, на совести которого – смерть ее мужа.

Так вот оно что! Вот он, лик угрозы, перед которою я трепетал. И теперь, когда решительное слово было сказано, оно показалось мне смешным и нелепым. Чувство уверенности опять вернулось ко мне, мой страх исчез, я стоял перед противником, который разрядил свой пистолет и промахнулся. Теперь очередь была за мною, все остальное было в моей власти. Я чувствовал свое неизмеримое превосходство над этим юнцом, осмелившимся выступить против меня. Теперь я был сильнее и знал, как мне нужно действовать.

Я подошел к нему вплотную и посмотрел ему в глаза.

– Я надеюсь, – сказал я, – что вам не приходится в голову возлагать на меня или на кого-либо другого ответственность за это прискорбное событие.

Слова мои произвели то действие, какого я ждал. Он не выдержал моего взгляда, попятился на шаг.

– Вы меня озадачили, господин ротмистр, – ответил он. – Чего угодно мог я ждать от вас, только не запирательства. Говоря вполне откровенно, я не понимаю вас. Разве вы не боитесь, что эта ваша попытка может быть ложно истолкована? Недостатка мужества я у вас до сих пор никогда не замечал.

– Вопрос о моем личном мужестве оставим покамест в стороне, – сказал я тоном, совершенно недвусмысленно говорившим о моих дальнейших намерениях. – Благоволите мне прежде всего сообщить, какова была, по вашему мнению, моя роль в настоящем происшествии.

Его замешательство было непритворно, но он успел уже овладеть собою.

– Я надеялся, что вы меня от этого освободите, – сказал он. – Но вы на этом настаиваете – извольте! Я буду краток: вы разузнали каким-то образом, что мой зять доверил свои сбережения, а также небольшое состояние моей сестры банкирскому дому Бергштейна, о крахе которого сегодня говорят газеты. Вы знали также или догадывались, что Дина решила как можно дольше скрывать от мужа эту катастрофу. Оба эти факта сделались оружием в ваших руках. Сегодня днем вы делали повторные попытки перевести беседу на эту тему. Вы несколько раз прицеливались в Ойгена и всякий раз опускали оружие, когда замечали, что мы наблюдаем

за вами, Дина и я. Вы искали более благоприятной обстановки... Нужно ли мне продолжать? Когда Ойген вышел из комнаты, вы последовали за ним сюда. Тут вы наконец остались с ним наедине, никто не мог ему помочь. Вы сказали ему беспощадно то, что мы от него скрывали. Затем вы оставили его одного, и спустя две минуты раздался выстрел, которого вы ждали. План ваш был прост, вы знали, что он давно утратил веру в себя и в свою будущность.

– Раздалось два выстрела, – сказал внезапно инженер, но никто из нас не повернулся в его сторону.

Я решил, что пора положить конец всей этой сцене.

– Это все? – спросил я.

Феликс не ответил.

– Свои предположения вы сообщили также фрау Бишоф?

– Я говорил об этом со своею сестрою.

– Вы прежде всего обязаны сообщить фрау Бишоф еще сегодня, что ваше предположение было ошибочно. Я не имею никакого касательства к этому происшествию. С Ойгеном Бишофом я не говорил. В эту комнату я не входил.

– Вы в эту комнату... Нет, Дины больше здесь нет. Полчаса тому назад мы отвезли ее к родителям. Вы говорите, что в эту комнату не входили?

– В том порукой мое слово.

– Слово офицера?

– Честное слово.

– Ваше честное слово? – медленно повторил Феликс.

Он стоял передо мною, немного согнувшись, и кивнул два-три раза головою.

Потом его поза изменилась. Он выпрямился и потянулся, как человек, благополучно доведший до конца трудную работу. По его плотно сжатым губам скользнула усмешка и сейчас же исчезла.

– Ваше честное слово! – сказал он еще раз. – Положение тем самым, конечно, изменяется. Это значительно упрощает дело – такое честное слово. Если вам угодно подарить мне еще минуту внимания... Таинственный посетитель, видите ли, позабыл в этой комнате один предмет – отнюдь не ценный; быть может, он его не хватился и до сих пор. Поглядите-ка – вот это.

В перевязанной руке он держал что-то блестящее, я подошел ближе, я сразу узнал эту вещь и затем в ужасе схватился за карман пиджака, чтобы нащупать мою маленькую английскую трубку, которую всегда носил при себе, – карман был пуст.

– Трубка лежала на столе, – продолжал Феликс. – Она лежала здесь, когда мы вошли, доктор Горский и я. Доктор, живо...

Все заколыхалось вокруг меня. В глазах потемнело. Как давно забытое воспоминание, выплывшее из дали времен, возникло виденное: я иду по саду, по песчаной аллее, мимо грядок с фуксиями... Куда я направляюсь? Что нужно мне в павильоне? Дверь заскрипела, отворяясь. Как побледнел Ойген Бишоф при моих первых, шепотом произнесенных словах, растерянно вытаращив глаза на газетный лист, как вскочил и опять опустился на стул! И этот пугливый взгляд, проводивший меня, когда я вышел из павильона и закрыл за собою скрипучую дверь... На террасе свет... Это Дина... Поднимаюсь к ней... И вдруг – крик, выстрел! Внизу стоит смерть, и я... да, я позвал ее...

– Доктор, живо, он падает, – прозвучало у меня в ушах.

Нет. Я не упал. Я открыл глаза и сидел в кресле. Передо мною стоял Феликс.

– Это ваша трубка, не правда ли?

Я кивнул головою. Рука в белой повязке медленно опустилась.

Я встал.

– Вы собираетесь уйти, барон! – сказал Феликс. – Что ж, дело выяснено, и я не должен отнимать у вас время. Честное слово, честное слово офицера не принадлежит, надо думать, к

вещам, на которые мы смотрим различно. И так как мы едва ли еще встретимся в жизни, я хотел бы вам только сказать еще, что, в сущности, никогда не питал к вам вражды, сегодня – тоже. Я всегда был к вам расположен, барон. Чувствовал к вам странную симпатию. Не симпатию даже, это неподходящее слово, это было нечто большее. Я люблю свою сестру. Вы вправе спросить, отчего, несмотря на эти чувства, поставил я вас в такое положение, из которого для вас при создавшихся условиях существует только один выход. Можно, видите ли, любоваться каким-нибудь тигром или леопардом, можно восхищаться грацией и движениями такого зверя или смелостью его прыжка и тем не менее хладнокровно его пристрелить – просто потому, что это хищный зверь... Мне остается еще только уверить вас, что в исполнении решений, несомненно уже принятых нами, вы отнюдь не связаны сроком в двадцать четыре часа. Суд чести вашего полка я займу этим происшествием, если только вообще это окажется необходимым, во всяком случае, не раньше, чем по истечении этой недели. Это все, что я вам хотел еще сказать.

Я слышал все это, но мысли мои прикованы были к темному дулу револьвера, лежавшего на столе. Я видел его два больших круглых глаза, уставившихся в мои глаза, оно придвигалось ко мне все ближе и ближе, становилось все больше и больше, оно поглотило пространство, я ничего не видел, кроме него.

– Ты несправедлив к барону, Феликс, – услышал я внезапно голос инженера, – он так же мало имеет отношения к этому убийству, как ты и я.

Глава 9

У меня сохранилось только смутное воспоминание о том мгновении, когда сознание опять вернулось ко мне. Я услышал свой глубокий вздох, это был первый звук, нарушивший тишину в комнате. Потом я ощутил тихо сверлящее чувство в голове, не настоящую боль, а недомогание, скоро прошедшее.

Первым душевным движением, в котором я могу дать себе отчет, было изумление. «Куда я попал? – промелькнула у меня мысль. – Что это было, в каком я находился бреду?» К этому присоединилось затем чувство уныния. «Как это может быть?» – спрашивал я себя, испуганный и пораженный. Я видел себя входящим в эту комнату, слышал себя шепчущим слова, которые никогда у меня не слетали с губ! Я, я сам поверил в свою вину! Как это может быть? Обольщение чувств? Сон наяву подшутил надо мною! Чужая воля стремилась принудить меня взять на себя поступок, не совершенный мною. Нет, я не был в этой комнате, я не говорил с Ойгеном Бишофом, не я убийца! Все это было сном и бредом, выползшим из преисподней и загнанным теперь обратно!..

Я облегченно и освобожденно вздохнул. Я устоял, я не сдался, непостижимая сила, придавившая меня, теперь сломлена. Во мне и вокруг меня все стало иным, я снова принадлежал действительности.

Я поднял глаза и увидел перед собою выпрямившегося Феликса, губы его все еще были сжаты в своевольном выражении вражды и черствости. Он, казалось, решил не упускать из рук своей победы и резко повернулся в сторону инженера как против нового и опасного врага. Он взглянул на него недоверчиво из-под нахмуренных бровей, готовый атаковать его, и рука в белой повязке поднялась в жесте гневной озадаченности. Инженера не смутило это движение.

– Успокойся, Феликс! – сказал он. – Я отлично знаю, что говорю. Я обстоятельно все обдумал и пришел к убеждению, что барон ни в чем не виноват. Ты был не прав по отношению к нему, я требую только одного – чтобы ты меня выслушал.

Уверенность, с какой он говорил, оказала на мои нервы благотворное влияние. Чувство освобожденности, воспоминание о мучительном кошмаре, одним только мгновением раньше угнетавшем меня, теперь исчезло. Что меня совершенно серьезно обвиняли в убийстве – это казалось мне теперь фантастической нелепостью. Теперь, когда ясный свет, свет действительности начинал струиться на вещи, я испытывал только своего рода напряжение, напряжение совершенно непричастного к делу человека, простое любопытство, и больше ничего. «Как это все распутается? – спрашивал я себя. – Кто вогнал Ойгена Бишофа в смерть? На ком лежит бремя вины? А моя трубка, этот глупый свидетель, – по какому сцеплению обстоятельств попала она в эту комнату, на этот стол? Кого она уличает?»

Это я хотел, это я должен был установить, и глаза мои невольно приковались к инженеру, словно ему известен был выход из этого лабиринта неразрешенных загадок.

Не знаю, какое чувство в этот миг возобладало в моем противнике, были ли то гнев, нетерпение, раздражение, досада или разочарование, во всяком случае, ему удалось его скрыть. Лицо его опять приняло вежливое и любезное выражение, и гневное движение руки перешло в сдержанный приглашающий жест.

– Я весьма заинтересован, Вольдемар, – сказал он. – Говори. Но ты поторопишься, не правда ли, мне кажется, я уже слышу сирену полицейского автомобиля.

С улицы действительно доносились гудки, но инженер не обратил на это внимания. И когда он заговорил, я опять осознал на короткий миг, что речь идет обо мне, о данном мною слове, о моих чести и жизни. Но сейчас же после этого опять появилось чувство спокойствия, уверенности, полной непричастности, теперь ведь все должно было естественным образом

разъясниться. Представление, что на мне лежит еще тяжесть этого чудовищного подозрения, совершенно не умещалось у меня в мозгу.

– Не правда ли, – сказал инженер, – когда раздалась выстрелы, барон фон Пош находился в доме наверху – это тебе известно? На веранде, в беседе с твоей сестрою. Из этого должны мы исходить.

– Пусть так, – сказал Феликс тоном, каким говорят о безразличных вещах. Он все еще прислушивался, но звуки автомобиля замерли вдали.

– Это мы должны запомнить. Это важное обстоятельство, – продолжал инженер, – ибо у меня есть основание предполагать, что незнакомец, посетивший Ойгена Бишофа, еще находился в этой комнате в то мгновение, когда раздалась оба выстрела.

– Оба выстрела? Я слышал только один.

– Их было два. Я еще не исследовал револьвер, но расследование покажет, что я прав.

Он подошел к стене и показал на голубые цветы и арабески обоев:

– Здесь засела пуля. Он оборонялся, Феликс. Он выстрелил в своего преследователя и сейчас же после этого обратил оружие против себя. Так обстоит дело. Барон был в критический момент наверху, на террасе. О нем поэтому не может быть и речи при розысках незнакомого посетителя, это не подлежит сомнению.

Доктор Горский согнулся над простреленным местом в обоях и перочинным ножом старался выколупать пулю. Я слышал шелест осыпавшейся штукатурки. Феликс все еще прислушивался к шумам на улице.

– Так ли уж это несомненно? – спросил он, помолчав, не поворачивая головы. – Как проник незнакомец посетитель в сад, не можешь ли ты мне это сказать? Никто его не видел, никто не слышал звонка... Я знаю заранее, что ты мне ответишь: у него был второй ключ от калитки, у твоего незнакомца, не правда ли?

Инженер покачал головой:

– Нет. Я склонен, скорее, думать, что он долго – быть может, несколько часов – поджидал Ойгена Бишофа здесь, в павильоне.

– Вот как! Не объяснишь ли ты мне также, каким образом он вышел из комнаты? Ты утверждаешь, что он был еще здесь, когда раздался первый выстрел, но между обоими выстрелами прошло не больше секунды, а когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри.

– Об этом я долго думал, – сказал инженер без всякого замешательства. – Окна были тоже заперты. Охотно сознаюсь, что это – слабое место в моих рассуждениях, доньше – единственное, которое могло бы послужить уликой против барона.

– Единственное! – воскликнул Феликс. – А его трубка? Кто принес сюда эту английскую трубку? Не твой ли загадочный посетитель? Или уж не сам ли Ойген?

– Эту вторую возможность я бы не отверг а priori, – сказал инженер.

У Феликса готова была сорваться гневная реплика с языка, но его предупредил доктор Горский, до этого времени слушавший молча.

– Не знаю, – сказал он, – я ведь могу ошибаться, но мне кажется, что я действительно видел трубку один миг в руке Ойгена Бишофа...

– В самом деле, доктор? – перебил его Феликс. – Но случалось ли вам видеть его когда-нибудь курящим? Нет, доктор, мой зять Ойген не курил, ему был противен табак...

– Я ведь и не утверждаю, – прервал его доктор, – что он собирался курить. Может быть, он взял с собою трубку машинально, оттого, что она ему попала в руки. Я и сам однажды по рассеянности вышел на улицу с большими ножницами для бумаги, и если бы не встретился со знакомым...

– Нет, доктор, придется уж вам поискать более разумные объяснения. Когда я вошел сюда, в трубке еще тлел пепел, и, поглядите-ка, там, в углу, лежит с полдюжины сожженных спичек. Трубку раскуривали здесь.

Доктор не знал, что на это ответить, но на инженера эти слова произвели впечатление, которое трудно описать.

Он вскочил. Он вдруг побледнел как полотно. Вытаращив глаза, переводил их с одного на другого и потом закричал:

– В трубке еще тлел пепел! Вот оно! Ты помнишь, Феликс? На письменном столе еще лежала его тлеющая папироса.

Никто из нас не понимал, что он хочет сказать. От волнения он заговорил с резко выраженным прибалтийским акцентом, это меня больше всего поразило. Мы смотрели на него в изумлении. Страшно бледный, на себя не похожий, потрясенный, стоял он перед нами и не мог ничего ни сказать, ни объяснить. Он только лепетал и был при этом в ярости, что мы его не понимаем. Феликс покачал головою:

– Вырази свою мысль яснее, Вольдемар, я не понял ни слова.

– А я-то первый был в этой комнате! – крикнул инженер. – Черт бы меня взял, где были мои глаза! Выразиться яснее! Как будто это и так не ясно! Он заперся, как Ойген Бишоф, и потом, когда хозяйка вошла, на его письменном столе лежала тлеющая папироса. Не понимаешь ты меня или не хочешь понять?

Теперь я понял наконец, о чем он говорит. Я уже позабыл о таинственном самоубийстве того морского офицера, с которым дружил Ойген Бишоф. Пронизав меня трепетом, сходство обеих трагедий уяснилось мне. Смутно и волнующе осенила меня в этот миг впервые догадка об их взаимной связи.

– Те же внешние обстоятельства и тот же ход событий, – сказал инженер и провел рукою по изборожденному лбу. – Почти тот же ход, и при этом во всех трех случаях отсутствие каких-либо видимых побудительных мотивов.

– Какие ты делаешь из этого выводы? – спросил Феликс оторопело, не вполне уже уверенный в своей правоте.

– Прежде всего тот вывод, что на бароне Поше нет никакой вины. Ясно ли это тебе, наконец?

– А на ком вина, Вольдемар?

Инженер долго и пристально смотрел на покрытое пледом тело, распростертое перед ним на полу. Под влиянием странного представления он понизил голос. Совсем тихо, почти шепотом, он сказал:

– Быть может, рассказывая нам про участь своего друга, он был на расстоянии какого-нибудь шага от раскрытия тайны. Он уже предчувствовал разгадку, когда уходил из комнаты, поэтому был он так взволнован, совсем вне себя – ты помнишь?

– Ну? Дальше.

– Тот молодой офицер погиб, когда натолкнулся на причину самоубийства брата. Ойген тоже разгадал тайну, быть может, в этом причина того, что он должен был умереть...

Тишину нарушил звонок у калитки. Доктор Горский открыл дверь и выглянул в сад. Мы услышали голоса.

Феликс поднял голову. Выражение лица у него изменилось. К нему вернулось хладнокровное высокомерие.

– Это полицейская комиссия, – сказал он совершенно другим тоном. – Вольдемар, ты, должно быть, сам не сознаешь, в какие фантастические области ты забрел. Нет, теориям твоим недостает самого важного – убедительности. Простите меня теперь, я хотел бы переговорить наедине с этими господами.

Он подошел к доктору Горскому и сердечно пожал ему руку.

– Спокойной ночи, доктор. Я никогда не забуду того, что вы сделали сегодня для Дины и для меня. Что бы мы стали делать без вас? Вы обо всем подумали, вы не потеряли головы, милый доктор.

Потом взгляд его скользнул по мне.

– Я не должен вам, думается мне, говорить, господин ротмистр, – сказал он светским тоном, – что положение вещей несколько не изменилось. Мы остаемся, надеюсь, при нашем соглашении, не так ли?

Я безмолвно поклонился.

Глава 10

О том, что еще произошло в этот вечер на вилле Ойгена Бишофа, долго говорить не придется.

Проходя через сад, мы встретились с комиссией, тремя господами в штатском. У одного из них в руках были портфель и большая кожаная сумка. Глухой садовник шел впереди с фонарем. Мы посторонились, чтобы пропустить их мимо, и пожилой господин с полным лицом и седой бородкой – участковый полицейский врач, как оказалось, – остановился и обменялся несколькими словами с доктором Горским.

– Добрый вечер, коллега, – сказал он и поднес ко рту носовой платок, – осень-то какая ранняя. Вы были вызваны сюда?

– Нет. Я оказался тут случайно.

– Что, в сущности, произошло? Мы еще ничего не знаем.

– Мне не хотелось бы предварять ваши заключения, – сказал уклончиво доктор, дальнейшую их беседу я не слышал, так как пошел дальше.

Никто, по-видимому, не входил в комнату, где мы играли, с той минуты, как я ушел из нее. Опрокинутый стул все еще лежал перед дверью. Мои ноты я увидел разбросанными по полу, на спинке одного из стульев висела шаль Дины.

Сквозь открытое окно врывался сырой и холодный ветер ночи; я застегнулся, чувствуя озноб. Подбирая с пола нотные листы, я заметил один из них с надписью: *Trio H-dur, op. 8*. И почудилось мне, словно мы только что доиграли скерцо. Заключительные аккорды рояля и певучий последний тон виолончели звучали у меня в ушах. Я дал обольстить себя приятной грезе, будто все мы сидим еще за чайным столом, ничего не случилось, инженер пускает в воздух сизые табачные кольца, со стороны рояля доносится мерное дыхание Дины, Ойген Бишоф медленно ходит взад и вперед, и тень его бесшумно скользит по ковру.

Вдруг захлопнулась где-то дверь, и я вздрогнул. Я услышал в прихожей громкие голоса, раздалось мое имя. Это были инженер и доктор, они, по-видимому, думали, что я давно уехал домой.

– Все, – говорил доктор очень решительным тоном. – Любое насилие, любое вероломство, любое... о боже, как поздно! Даже на убийство я считаю его способным, оно было в его жизни не первым. Но злоупотребление честным словом? Нет, ни за что не поверю.

– Оно было бы не первым? – спросил инженер. – Что вы хотите этим сказать?

– О боже, он кавалерийский офицер! Уж не прикажете ли вы мне здесь, на сквозном ветру, излагать вам свои взгляды на дуэль? Он может быть беспощаден до степени зверства, об этом я мог бы кое-что рассказать... Вот ваше пальто... Он любит животных, скаковых лошадей, собак, да, но жизнь человека, стоящего у него на пути, не имеет в глазах его никакой цены, поверьте мне.

– Мне кажется, доктор, вы судите о нем совершенно неверно. Впечатления...

– Послушайте, я знаю его... Постойте-ка... Пятнадцать лет я знаю его.

– Но ведь и я немного знаю толк в людях. Впечатления грубого насильника он, право же, на меня не произвел. Напротив, он показался мне человеком чувствительным, живущим только своею музыкой, втайне застенчивым.

– Мой милый инженер, кого из нас можно определить такими простыми прилагательными? Ими нельзя очертить характер человека. Это совсем не такая простая штука, как наша там какая-нибудь обкладка конденсатора, заряженная либо положительно, либо отрицательно. Чувствительный, чрезвычайно впечатлительный, это тоже правда, но рядом с этим есть еще место для многого другого, можете мне поверить!

Я стоял, согнувшись, с нотным листом в руке и не решался пошевелинуться, потому что дверь была приоткрыта и малейшее движение могло бы выдать мое присутствие. Вся эта беседа не интересовала меня, и я мечтал только о том, чтобы они оба вышли наконец из виллы, так как мне тягостно было подслушивать их разговор. Но они продолжали говорить, и я не мог их не слушать.

– Но злоупотребление честным словом – нет, на это он неспособен, – сказал доктор. – Существуют, видите ли, внутренние законы этики, которых никогда не нарушает даже самый отъявленный циник. Каста, происхождение, традиции – нет, если такой барон фон Пош дает честное слово, то он не лжет. Феликс ошибается.

– Феликс ошибается, – повторил инженер. – Это было мне ясно с первого мгновения. Мы находим старый след, и вместо того, чтобы идти по этому следу туда, где он становится виден в первый раз, вместо того, чтобы поступить самым простым и естественным образом... Какое отношение, черт возьми, может иметь барон к самоубийству ученика академии? Должен же был Феликс задать себе такой вопрос!.. Ойген Бишоф мертв, я все еще не могу освоиться с этой мыслью!.. Мы выясним, доктор, это дело, такова наша задача. Хотите вы мне помочь?

– Помочь? Но что же мы можем сделать, как не предоставить события их естественному ходу?

– Вот как? Предоставить события их естественному ходу? – воскликнул инженер громко и взволнованно. – Нет, доктор, так я никогда в жизни не поступал. Из всех личин косности эта личина была мне всегда самой ненавистной. Предоставить события их естественному ходу – это значит признать: я слишком глуп, слишком ленив или слишком бессердечен...

– Благодарю вас, – сказал доктор Горский. – Вы в самом деле знаток людей.

– Пожалуй. Вот этот, например, барон, которого вы считаете беспощадным насильником без удержу и без совести, мне представляется одним из высокомерных, холеных, умственно не слишком подвижных аристократов, которые только кажутся людьми опасными, а на деле совершенно беспомощными, когда сами оказываются в опасности. Мы должны о нем подумать, доктор. Неужели вы хотите его предоставить собственной участи? Если события пойдут своим ходом, они неминуемо обратятся против него, а конец – это пуля, подумайте об этом. Неужели, доктор, не достаточно жертв?

Доктор Горский не ответил. В течение минуты я слышал какую-то возню, что-то упало с шумом на пол, потом донеслось сердитое ворчание, перешедшее в ругань.

– Что вы ищете? – спросил инженер.

– Свою палку. Куда я поставил ее? Она совсем не моя, это лучше всего. Я взял ее у моего слуги. Опять у меня ревматизм разыгрался. Пистиан, давно мне следует съездить в Пистиан. Коричневая палка с толстым роговым набалдашником, вы ее нигде не видели?

Я испугался, потому что у стены, рядом с камином, стояла коричневая палка с роговым набалдашником.

Я надеялся, что они оба уйдут из дому, не заметив меня. От надежды этой мне пришлось отказаться, потому что нельзя было сомневаться, что доктор начнет искать свою палку по всем комнатам. Надо было предупредить его.

Я выпрямился и небрежно бросил ноты на стол. Потом подошел к роялю и шумно захлопнул крышку скрипичного футляра. Надо было дать им обоим знать, что я здесь и что мне слышно было каждое слово их неосторожно громкой беседы.

Сердитое ворчание доктора Горского сразу оборвалось, я только слышал тиканье стоячих часов, оба, должно быть, смотрели друг на друга ошарашенные. Я рисовал себе их оторопелые и смущенные лица, и образ доктора, остолбеневшего гнома в пальто и калошах, живо стоял у меня перед глазами.

Наконец дар речи вернулся к ним. Послышался взволнованный шепот, и затем я услышал шаги – твердые и энергичные шаги инженера.

Очень спокойно пошел я ему навстречу, положение было ему, несомненно, гораздо неприятнее, чем мне. Я собирался открыть дверь... В этот миг около меня зазвонил телефон.

Совершенно машинально взял я трубку. Что этот вызов не мог относиться ко мне, я сообразил позже.

– Аллю?

– Кто у телефона? – прозвучало из мембраны.

Мне был знаком этот голос, у меня сразу же возникло ощущение, что я говорю с очень молоденькой барышней, и с этим представлением было связано воспоминание о каком-то странном аромате, о запахе эфира или эфирного масла – в течение секунды я вспоминал, где слышал уже этот голос.

Дама у телефона начинала терять терпение.

– Кто говорит? – повторила она раздраженным тоном, и я растерялся, потому что дверь распахнулась и на пороге появился инженер в пальто, со шляпой в руке. Он смотрел на меня вопросительно.

– Говорят с виллы Бишоф, – сказал я наконец.

– Да ведь вот она, моя палка, – пробурчал, обрадовавшись, доктор Горский.

Он вошел вслед за инженером, стоял в комнате и потирал себе ногу.

– Господин профессор дома? – спросила дама.

– Господин профессор? – Я не имел представления, о ком идет речь. «Неправильное соединение», – подумал я и вспомнил: Дина жаловалась как-то, что ее номер всегда путают с номером какого-то окулиста.

– Опять уж эта боль, – стонал доктор. – Несколько недель серных ванн, это было бы лучше всего. Но, поверите ли, даже этого не мог я себе позволить этим летом.

– Вам с кем угодно говорить? – спросил я.

– С господином профессором Бишофом, Ойгеном Бишофом, – послышалось из аппарата.

Тут только вспомнил я, что Ойген Бишоф состоял также преподавателем в академии пластических искусств. Как мог я этого сразу не сообразить! «Очевидно, одна из его учениц», – сказал я себе, но почему тембр этого голоса будил во мне воспоминание о запахе эфира, этого я не мог объяснить.

– С господином профессором нельзя говорить, – сказал я в телефон.

– Идем же, наконец, – торопил доктор Горский инженера, – долго ли мне еще стоять с моим ревматизмом на этом сквозняке?

– Тише! – шепнул ему инженер. – Вешалка, падая, ударила вас по коленке, вот и весь ваш ревматизм.

– Что за вздор? – воскликнул, негодуя, доктор Горский. – Что вы мелете? Я ведь, кажется, знаю, что такое мышечная боль.

– Нельзя говорить? Мне тоже? – спросила дама очень самоуверенным тоном. Назвать себя она считала, по-видимому, совершенно излишним. – Мне тоже? Он ведь ждал моего вызова.

Я был в замешательстве, и оно усугублялось тем, что доктор Горский не переставал говорить. Что нужно было мне ответить ей?

– Боюсь, что с профессором никому нельзя говорить, – сказал я в трубку, и мне привиделся шотландский плед и бледное лицо, прикрытое им, я почувствовал, как у меня мороз пробежал по спине и руки задрожали.

– Никому? – раздался из аппарата возглас изумления и отчаяния. – Но ведь он ждет моего вызова!

– Посмотрите-ка, мне кажется, дождь опять пошел, – сказал доктор. – Это яд для меня. Найду ли я фиакр? Наверное, не найду, это я заранее знаю.

– Замолчите же, наконец, черт возьми! – накинулся на него инженер.

– Что это значит? Не случилось ли несчастья? – крикнула незнакомка.

– В боку и в спине. Боль ползет вверх. Вот тебе и удовольствие! – прошептал доктор Горский, совсем запуганный, и затем замолчал.

– Что случилось? Говорите же! – настойчиво повторила дама.

– Ничего! Решительно ничего!

И как молния пронизал меня вопрос: откуда она знает?... Откуда может она знать?... Нет, от меня это никто не должен узнать, только Феликс вправе...

– Ничего не случилось, – сказал я и постарался придать своему голосу спокойную интонацию, но стеклянные глаза на бледном, искаженном лице не исчезали, не хотели исчезнуть. – Господин профессор уединился для работы, вот и все.

– Для работы? Ах, конечно, новая роль! А я подумала... Боже, какая глупая мысль!.. Я боялась...

Она тихо засмеялась про себя. Потом опять заговорила прежним самоуверенным тоном:

– Я не стану, разумеется, беспокоить господина профессора. Можно попросить вас... С кем я имею удовольствие говорить?

– Барон фон Пош.

– Не знаю такого, – прозвучала очень уверенная реплика, и опять у меня возникло такое чувство, будто этот голос я слышал уже не раз, но когда и где, этого я все еще не мог припомнить. – Будьте добры передать господину профессору – он еще сегодня днем должен был приехать ко мне, но в полдень вдруг отменил визит, – так передайте ему, пожалуйста, что я жду его завтра к себе в одиннадцать часов утра. Скажите ему, что все приготовлено и что я вторично откладывать это дело не намерена, если у него опять не будет времени.

– От чьего имени должен я это все передать? – спросил я.

– Скажите ему, – голос звучал на этот раз очень немилостиво, как у избалованного ребенка, когда что-нибудь делается не по его желанию, – скажите профессору, что я ни при каких обстоятельствах не стану дольше ждать Страшного суда. Этого будет с него достаточно.

– Страшного суда? – спросил я удивленно, ощутив какой-то легкий трепет, причины которого не мог себе уяснить.

– Да. Страшного суда, – повторила она с ударением. – Так и передайте, пожалуйста. Благодарю вас.

Я слышал, как она дала отбой, и опустил трубку. В тот же миг меня кто-то ухватил за плечо. Я повернул голову, инженер стоял со мною рядом, вытаращив на меня глаза.

– Что... что вы сказали? – лепетал он. – Что вы только что сказали?

– Я?... Дама, дама у телефона... Она дольше не хочет ждать Страшного суда.

Он выпустил меня и схватил трубку. Шляпа его свалилась на пол. Я поднял ее и держал в руках.

– Поздно. Она дала отбой, – сказал я.

Он яростно швырнул трубку на вилку.

– С кем вы говорили? – набросился он на меня.

– С кем? Не знаю. Она не хотела назвать себя. Но ее голос показался мне знакомым. Это все, что я могу сказать.

– Вспомните! Ради Создателя, вспомните же! – закричал он. – Я хочу знать, с кем вы говорили. Вы должны вспомнить! Слышите? Вы должны вспомнить!

Я пожал плечами.

– Если хотите, – сказал я, – я вызову станцию. Может быть, мне скажут, с кем я был соединен.

– Это совершенно безнадежно, не трудитесь. Лучше постарайтесь припомнить!.. Она вызывала Ойгена Бишофа? Чего она хотела от него?

Я повторил ему дословно разговор.

– Вы это тоже находите странным? – спросил я в заключение. – Страшный суд! Что могло бы это значить?

– Не знаю, – сказал он, тупо глядя в пространство. – Знаю только, что это были последние слова Ойгена Бишофа.

Молча стояли мы друг против друга.

Ничто не шевелилось в комнате, было слышно только тиканье часов, больше – ни звука, пока наконец доктор Горский, выглянув в сад, не захлопнул окна.

– Слава богу, дождь уже прошел, – сказал он и подошел к нам.

– Какое мне дело, идет ли дождь или не идет! – закричал инженер в припадке внезапной ярости. – Разве вы не понимаете? Жизнь человека в опасности!

– Вы совершенно напрасно тревожитесь из-за меня, – сказал я, чтобы его успокоить. – Право же, я не так беспомощен, как вы думаете, и кроме того...

Он посмотрел на меня совершенно безумным взглядом, потом увидел свою шляпу и взял ее у меня из рук.

– Речь идет не о вашей жизни, – пробормотал он. – Нет, не о вашей.

Потом он вышел. Безмолвно, как лунатик, вышел он из комнаты и спустился по лестнице со смятой шляпой в руке, не попрощавшись, не обратив внимания ни на меня, ни на доктора Горского.

Глава 11

На людей, встречавшихся мне по пути, я производил, должно быть, впечатление полоумного, внезапно выбитого из своей колеи человека, когда я в этот вечер шел домой по ярко освещенным улицам, взволнованный, без шляпы и со свежей рваной раной на лбу. Когда и где получил я ранение, так и осталось для меня невыясненным. Вернее всего, когда я в павильоне на несколько секунд потерял сознание – это был только легкий приступ слабости, и он скоро прошел, – я ударился лбом о какой-то твердый предмет, о спинку стула или край письменного стола. Я помню ясно, что вскоре после этого почувствовал острую и сверлящую боль над правым глазом, но не обратил на нее особенного внимания, да и прошла она скоро. Идя по улице, я все еще не знал об этой ране, и удивленные взгляды прохожих вызывали во мне странное ощущение.

Мне казалось, будто уже весь город знает о том, что произошло на вилле Бишоф. Весь город принимал участие в событии, весь город знал меня и видел во мне убийцу. «Как это ты не арестован?» – спрашивал изумленный взгляд студента, вышедшего на улицу из ночного кафе. Испугавшись, я ускорил шаг и встретил двух девушек, стоявших перед воротами и ждавших, чтобы открыли калитку, двух сестер, и одна из них, с веткой рябины в руке, узнала меня, в этом не было сомнения. «Вот он», – прошептала она, и я видел, как она с выражением негодования и гадливости отвернулась в сторону. У нее было бледное лицо, и под широкими полями ее летней шляпы отливали рыжеватым блеском волосы.

Потом приблизился пожилой господин, руки у которого нервно подергивались. Он остановился и скорбно взглянул на меня, даже как будто собирался заговорить со мною. «Как могли вы вогнать в смерть этого несчастного человека? Как могли вы?» – хотел он, казалось, сказать. «Черт побери, довольно с меня!» – подумал я, и заметив, что я готов при первом же его слове схватить его за горло, он испугался и ушел...

Но затем произошло нечто, окончательно лишившее меня самообладания.

Навстречу мне бесшумно ехал велосипедист, рослый, мускулистый человек с голыми руками; он похож был на пекаря в своей фуфайке. Соскочив с велосипеда, он пристально посмотрел на меня. «Этот ищет меня, этот гонится за мной», – промелькнуло у меня в голове, и я пустился бежать, задыхаясь, мчался я по улице, мчался все дальше и остановился в каком-то темном переулке, далеко от своего пути, с трудом переводя дыхание. Только тогда сознание вернулось ко мне.

«Что это было? – спрашивал я себя со стыдом и страхом. – От кого я бежал? Разве мог весь город прийти в волнение от того, что кто-то там застрелился? Что за сумасшествие! Как мог я в глазах чужих и безучастных людей, случайно мне встретившихся, – как мог я в их лицах читать нелепое обвинение Феликса!» Бредовое видение испугало меня. Чужие люди, никого из них я раньше не видел... «Довольно. Домой!» – гневно прошептал я про себя. Это нервы. Мне надо принять бром. Да, слишком много пришлось перенести за один день... Чего я боюсь? В том, что произошло, я ведь ничуть не повинен. Я не мог помешать, никто не мог этому помешать, ничьих взглядов мне не приходится опасаться. Я могу спокойно продолжать свой путь, могу смотреть людям прямо в лицо, так же прямо, как вчера, как во все дни моей жизни.

И все же... какое-то чувство заставляло меня обходить людей, шедших мне навстречу. Я обходил яркие световые пятна газовых фонарей, я искал сумрака и вздрагивал, когда за мною раздавались шаги. На темном перекрестке я услышал шум медленно катившегося фиакра. Я остановил его, и заспанный кучер отвез меня домой.

Когда я открывал дверь в свою квартиру, мое решение сложилось окончательно: я решил уехать.

– Нервы у меня совсем развинтились, – сказал я вполголоса, пять или шесть раз повторил я эту фразу и, поймав себя на этом, испугался. – Прочь отсюда, да! Но не на юг, нет, не в Ниццу, не в Рапалло и не на Лидо... – В Богемии у меня было поместье, доставшееся мне по наследству от рано умершего родственника с материнской стороны. В этой старой усадьбе я провел в молодости несколько лет и всякий раз, просматривая сообщения, предложения и счета своего управляющего, вспоминал о тех минувших светлых днях. Со времени моего детства я посетил это имение один только раз. Пять лет тому назад я в течение недели охотился на диких коз в Хрудимских лесах.

Туда меня теперь потянуло. Там нашел бы я покой и одиночество, в которых испытывал теперь потребность, как никогда. Что мое исчезновение может быть ложно истолковано в городе, что оно может быть понято как бегство, как доказательство вины, как отчаянная попытка вырваться из сети неопровержимых улик, – об этом я в ту минуту не думал. Я хотел уехать из города, вот и все. И я представлял себе, как проведу следующие недели: долгие прогулки по бесконечным еловым лесам; дружба с косматым старым охотничьим псом; отдых у пруда, где я ребенком в поисках морских чудищ ловил водяных хрущей, саламандр и пиявок; воскресный обед в деревенской гостинице в обществе молчаливых чешских крестьян и чиновников лесного ведомства, играющих в карты; а вечером, перед сном, часок чтения в кресле перед камином, где ярко горят дрова, за бутылкой красного вина и с трубкою в зубах.

Такою рисовалась мне жизнь ближайших дней, и не успел этот план сложиться, как меня уже повлекло сейчас же его осуществить. Я дрожал от нетерпения, мне хотелось уже теперь, уже в этот миг сидеть в поезде. Я расхаживал по комнате, и привычная мне картина, письменный стол, пестрые гобелены на окнах, албанская пищаль и зеленый шелковый коврик на стене – все это стало мне ненавистно и невыносимо.

Охватившая меня лихорадка нетерпения не давала мне сидеть в праздности. И чтобы упрочить решение в самом себе, чтобы заняться чем-нибудь, что могло бы меня приблизить к исполнению моего плана, я достал, как будто нельзя было терять время, оба своих чемодана и принялся укладывать. Несмотря на бушевавшую во мне тревогу, я действовал методически, думал обо всем, слуга мой Винцент – и тот не уложил бы вещей так. Не позабыл я даже маленький карманный компас и немецко-чешский словарь, который был куплен мною еще пять лет тому назад, перед моей поездкой в Богемию. Когда я кончил работу – в комнате навалены были в кучу книги, платье, кожаные гамашаи и белье, которых я не брал с собою, – когда чемоданы были заперты, я стал соображать, какими спешными делами нужно мне еще заняться перед отъездом. Прежде всего надо отправиться в банк за деньгами. Затем – беседа с моим адвокатом, которого я собирался пригласить к себе. Отпуск? Срок моего отпуска еще не истек. На среду у меня назначена встреча с друзьями в оперном ресторане, от нее нужно отделаться. Далее надо послать телеграмму управляющему, чтобы на станцию были высланы лошади, и заплатить один карточный долг и по нескольким счетам – я хотел оставить здесь в полном порядке все свои дела. Несколько покупок в городе... Не забыть еще про турнир в фехтовальном клубе, я записан участником и должен своевременно отказаться, это можно, пожалуй, сделать запиской на имя секретаря клуба.

Это было все, что мне покамест пришло в голову, я записал все эти вещи для памяти и положил листок на письменный стол под пресс-папье. Тревога моя немного улеглась. Все, что можно было сделать в этот поздний час для ускорения отъезда, было сделано. Два часа и пять минут ночи. Пора спать.

Но я все еще был настолько взволнован, что не мог заснуть. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами, но не чувствовал ни следа усталости; с мучительной ясностью скрешивалось множество жутких образов в моем слишком возбужденном мозгу. Потом я вспомнил о снотворном средстве, приготовленном на моем ночном столике. В коробочке оставались еще только две таблетки брома, и я принял их обе.

Не забыть еще купить брома, или морфия, или веронала; какой-нибудь наркоз, вероятно, будет мне часто еще нужен в ближайшие дни – говорил я себе и тут же вскочил и принялся взволнованно искать рецепт, сначала в бумажнике, потом во всех ящиках письменного стола, в углах комодов и шкапов, наконец, в карманах моего костюма, но так и не мог его найти.

«Это ничего, – успокаивал я себя. – Мне не нужно рецепта. В аптеке на моей улице меня знают, и аптекарь кланяется мне, когда я прохожу мимо. Немного брома я там и без рецепта могу получить. Бром! Не забыть об этом, иначе я завтра не засну в вагоне».

Я взял со стола листок с заметками на завтрашний день. И в то мгновение, когда я записывал слово «бром», мне вдруг припомнился голос, доносившийся из телефона, голос женщины, не желавшей ждать Страшного суда. Как он странно звучал! И в то же время я вспомнил слова инженера: «Вспомните! Ради Создателя, вспомните! Вы должны вспомнить!» Да, я должен был вспомнить, теперь нельзя было заснуть, мне нужно было припомнить сначала, отчего мне знаком этот голос. Теперь мне было ясно, что незнакомка владеет ключом от тайны, она в состоянии нам объяснить, почему Ойген Бишоф покинул этот мир, она это знает, я должен ее найти, должен с нею переговорить...

Я лежал в постели, прижимая руки к вискам, и рылся в своих воспоминаниях. Пытался еще раз вызвать в памяти тембр этого голоса, но это мне не удавалось. Усталость овладела мною. Снотворное средство начало действовать. Чувство покоя поднималось во мне; все, что произошло, казалось мне теперь нереальным и до странности незначительным, игрою тени на стене. Я еще бодрствовал, но уже чувствовал легкую ласку сна. Отрывочные слова, лишённые смысла, раздавались у меня в ушах, предвестники сновидений. «Все еще дождь», – сказал чей-то голос, и другие голоса к нему примешались, и я очнулся и был один. По комнате прожужжала муха. Внизу мимо проходил человек по улице и ударил палкой по плитам тротуара раз, два, три раза. Я слышал это, но мне в то же время чудилось, будто где-то вдали дятел долбит кору. Еловый лес шумел, порыв сырого ветра опалхнул мне лицо, издали донесся крик птицы, еще раз попытался я открыть глаза, и затем этот день окончился.

Глава 12

Винцент, стоя с завтраком перед моей постелью, разбудил меня. В комнате было темно. Я видел его силуэт и тусклое мерцание серебряного молочника. Он что-то говорил, но я не понимал его слов. Все еще боролся я с пробуждением, как-то смутно боялся встать и начать этот день.

– Который час? – спросил я с трудом и, вероятно, сейчас же опять заснул, но ненадолго, только на несколько секунд, быть может, потому, что, когда я открыл глаза, Винцент еще стоял перед кроватью.

– Девять часов, господин ротмистр, – услышал я его ответ.

– Не может быть, – сказал я и закрыл глаза, – тут ведь темно, как ночью.

Послышались скользящие шаги по ковру и легкий звон посуды. Потом на окнах взвились шторы. Дневной свет проник в комнату, от его яркости стало больно лицу.

– Если господин ротмистр уезжать собрались, то пора вставать, – сказал Винцент, стоя у окна.

– Уезжать? Куда? Зачем? – спросил я, еще не совсем проснувшись, и попытался собраться с мыслями, но мог только вспомнить, что ночью упаковал оба чемодана. – Есть еще время. Ты отвезешь мне чемоданы на вокзал.

– На Южный?

Прошло некоторое время, прежде чем я вспомнил о цели своего путешествия.

– Нет, я еду в Хрудим, – сказал я. – Опустите шторы, я еще посплю немного.

– Господи! – крикнул вдруг Винцент. – Какой у вас вид, господин ротмистр!

Я все еще не совсем пришел в себя.

– Что случилось? – спросил я в досаде и присел на постели.

– На лбу! Прямо над правым глазом! Где это, господин ротмистр, вы так ударились?

Я ощупал пальцами лоб.

– Покажи-ка! – сказал я, и Винцент принес мне зеркало. Я с удивлением увидел рану с запекшейся кровью и не мог объяснить себе ее происхождение.

– Вчера на лестнице опять было темно, – сказал я затем только, чтобы больше об этом не думать. – Этакие негодяи! Теперь ступай и дай мне спать.

– А что мне сказать этому господину? Он ждет ответа и говорит, что дело очень спешное.

– Какому господину, черт возьми?

– Я уже докладывал господину ротмистру. В соседней комнате ждет господин. Он сюда еще ни разу не приходил. Высокий, белокурый. Говорит, что непременно должен переговорить с господином ротмистром, и так удобно уселся за письменным столом, словно у себя дома.

– Назвал он себя?

– Карточка лежит на сахарнице.

Я взял карточку и прочитал: «Вольдемар Сольгруб». Два-три раза прочитал я это имя, и потом только припомнились мне события минувшего дня. Жуткое чувство охватило меня. Что нужно от меня инженеру так рано утром? Его визит не предвещает, конечно, ничего хорошего. Я стал думать, не сослаться ли мне на нездоровье или просто не передать ли, что принять его не могу. Я хотел быть один, никого не видеть, ничего не знать.

Но только в первое мгновение промелькнули у меня эти мысли, и я их отогнал.

– Я позавтракаю позже, – сказал я слуге. – А господина этого попроси еще немного подождать. Через пять минут я буду к его услугам.

Когда я вошел в комнату, инженер сидел за моим письменным столом. Он казался усталым и невыспавшимся, это было первое впечатление. Перед ним лежало в пепельнице пять или шесть окурков; поджидая меня, он, по-видимому, безостановочно курил. Обеими руками он

подпирал голову и глядел в пространство каким-то странным, стеклянным взглядом. Нижняя губа у него была слегка искривлена, словно он боролся с физической болью. Но едва лишь он заметил мое присутствие, это выражение исчезло. Он встал и подошел ко мне. В глазах у него читалось напряженное ожидание.

– Простите, что я распорядился вас разбудить, – заговорил он. – Но, право же, я дольше ждать не мог.

– Помилуйте, я вам за это признателен, – сказал я. – Я заспался, этого со мной обыкновенно не бывает... Чашку чаю разрешите?..

– Нет, благодарю вас, чаю не хочу. Вот от рюмки коньяку не откажусь... Спасибо, достаточно. Ну-с, вы знаете, зачем я пришел?

– Я полагаю, что вас прислал ко мне Феликс, – ответил я. – Со вчерашнего дня произошло что-нибудь новое?

– Еще нет. Покамест нет, – пробормотал инженер, и глаза у него сделались опять стеклянными.

– В таком случае я в самом деле не догадываюсь.

– Боюсь, что я действительно напрасно пришел, – сказал он. Он сидел, наклонившись вперед, и смотрел в сторону совершенно бессмысленным взглядом. – Я вообразил себе, что вы сможете мне сказать, с кем говорили вы вчера вечером по телефону об Ойгене Бишофе, вы помните? Больше вы не думали о том, кто бы могла быть эта дама?

– Думал, – сказал я порывисто и не успел еще договорить это слово, как меня осенило своего рода наитие, я внезапно пришел к заключению, показавшемуся мне необходимым и убедительным. – Я думал и пришел вот к какому выводу. Дама, с которой я говорил, может быть только актрисой. Я полагаю, что знаю ее по сцене, потому что с Ойгеном Бишофом у меня было мало общих знакомых. Но когда и в какой пьесе я видел ее, этого я, к сожалению, припомнить не мог.

– Благодарю вас, – выпалил инженер и устремил совершенно равнодушный взгляд на стенной зеленый коврик.

– Думаю, что я еще вспомню ее фамилию, – продолжал я, помолчав, – мне нужно для этого известное время. Мне придется перебрать в памяти не слишком много имен, я за последнее время не очень часто бывал в театрах.

Инженер сидел против меня безучастно, подпирая голову рукою. Он все еще не говорил ни слова, и его молчание невыразимо тяготило меня.

– Если бы мы могли встретиться после обеда, – предложил я, – скажем, в пять часов – такой срок должны вы мне дать, – то я уверен, что до тех пор...

Он прервал мои слова движением руки.

– Нет, не трудитесь, – сказал он – и затем, протянув руку к бутылке с коньяком, принялся пить рюмку за рюмкой, как помешанный.

– В пять часов дня, говорите вы? – продолжал он после седьмой рюмки. – В пять часов дня я буду знать, с кем вы вчера говорили, в этом не приходится сомневаться, судя по тому, как обстоят дела.

– В самом деле? – воскликнул я с изумлением и недоверием. – Разве у вас есть какая-нибудь отправная точка? Откровенно говоря, я не могу себе представить, каким образом...

– Можете на меня положиться. Я знаю, что говорю, – пробормотал инженер и опрокинул восьмую рюмку, девятую и десятую; он, казалось, привык пить коньяк стаканами.

– Было бы, конечно, чрезвычайно важно узнать, кто эта дама, – сказал я. – Я думаю, нам придется расспросить кое о чем прежде всего...

Он покачал головою.

– Я не думаю, что мы получим от нее какие-либо разъяснения, – сказал он и затем опять ушел в тупое молчание.

Прошло несколько минут. Мы молча сидели друг перед другом. В моей спальне Винцент по своей привычке вполголоса разговаривал сам с собою, по временам приостанавливался и насвистывал припев какой-то солдатской песни. Сквозь открытое окно глухо доносился уличный шум, от грохота катившегося мимо грузовика тихо дребезжали рюмки с коньяком и серебряный молочник... Я увидел на столе листок со вчерашними моими заметками и спрятал его.

Вдруг инженер встал. Несколько раз прошелся по комнате энергичными шагами. Перед моими чемоданами он остановился.

– Итак, это дело кончено, – сказал он совершенно другим тоном. – Простите, что нарушил ваш сон. Это было совершенно излишне... Вы собираетесь уехать, как я вижу...

– Да, в Богемию. У меня есть маленькое поместье близ Хрудима... Не угодно ли еще рюмку коньяку?... Мой поезд идет в семь часов вечера.

– Разрешите узнать, чем вызван ваш экстренный отъезд?

– Я еду охотиться на красного зверя.

– Вы думаете, дикие козы ваших лесов будут несдержанны, если вы заставите себя ждать несколько дней?... Шутки в сторону, барон, – не отложите ли вы свою поездку?

– Я, право, не понимаю, что должно меня от нее удержать.

– Не выходите сразу из себя, – сказал инженер и, подняв голову, посмотрел мне в лицо. – Позвольте мне разок поговорить с вами совершенно откровенно... Я был сегодня ночью в скаковом клубе... Я о вас беседовал с некоторыми вашими добрыми друзьями, вы были предметом довольно оживленных дебатов. Нет, вы не тот, каким показались мне вначале, не артист в душе, не эстет. Ваше имя упоминалось не иначе как в оригинальном тоне почтительной ненависти. Говорят, что при некоторых обстоятельствах вам доводилось обнаруживать известную, ну, скажем, широту взглядов в выборе средств. Кто-то назвал вас вчера великолепной бестией... Сидите, пожалуйста, спокойно! За что купил, за то и продаю и никакого не имею намерения вас обидеть... Вы собираетесь уехать в свое имение стрелять диких коз. Ладно. Я понимаю. Но к чему это? В смерти Ойгена Бишофа вы невиновны, не можете быть виновны. Черт побери, если только половина того, что мне о вас рассказывали, правда, то я не понимаю, почему вы как раз в этом случае не бережете своей шкуры, почему вы покорно исполняете приказ моего друга Феликса...

– А я, господин инженер, не понимаю, какое это все... какое имеет отношение Феликс к моей маленькой экскурсии.

– Вы желаете в прятки со мной играть? – спросил инженер и посмотрел на меня серьезно и внимательно. – К чему? Не предавайтесь, пожалуйста, никаким иллюзиям: никто из ваших знакомых не преминет констатировать, что вы мастер стильных инсценировок, если даже в газетных сообщениях о несчастье, случившемся с вами на охоте, не будет особо подчеркнуто это ваше дарование.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.